

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

На правах рукописи

ЯРЫЧЕВ Насруди Увайсович

**ФЕНОМЕН МЕМОРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И
СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЯХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Диссертация
на соискание ученой степени
доктора культурологии

Грозный, 2024

Оглавление

Введение.....	3
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕМОРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.....	39
1.1. Мемориальная культура в контексте актуальных гуманитарных исследовательских трендов.....	39
1.2. Сущностно-типологические и функциональные параметры мемориальной культуры.....	62
1.3. Структура мемориальной культуры.....	85
ГЛАВА II. КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: СМЫСЛОВЫЕ ИСТОКИ И АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ	122
2.1. Узлы памяти чеченского народа: анализ ключевых мемориальных нарративов.....	122
2.2. Государственная мемориальная политика Чеченской Республики: анализ актуальных стратегических направлений.....	140
2.3. Официальный уровень современной мемориальной культуры Чеченской республики	159
ГЛАВА III. «СОЦИАЛЬНЫЙ» УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННОЙ МЕМОРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КОГНИТИВНОГО И ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ЭЛЕМЕНТОВ	189
3.1. Персонифицированное и топографическое измерения современной мемориальной культуры Чеченской Республики	189
3.2. Мемориальная культура Чеченской Республики сквозь призму личной мемориальной активности чеченцев: персональная, коммеморативная, виртуальная, семейная формы бытования.....	212
Заключение	242
Список литературы	250

Введение

Актуальность темы исследования. Широко известна цитата выдающегося исследователя памяти П. Нора: «Мы живем в эпоху всемирного торжества памяти» [133]. Подобного рода торжество привело к ситуации, описанной еще в одной востребованной цитате еще одного выдающегося представителя *memorystudies*, Дж. Олика: «Юным доцентом я имел возможность приобрести все издания, посвященные данной теме, но став высокооплачиваемым профессором, разорился на покупке даже малой доли из них» [292, с. 249].

В связи с почти стихийно нарастающим объемом мемориальных исследований в актуальной повестке *memorystudies* нередко поднимается тема усталости от излишней проблематизации прошлого, от гипертрофированного научного интереса к нему и переоценке его ресурсного преобразовательного потенциала. В наибольшей степени это относится не к прошлому как таковому, не к исторической перспективе развития человечества, а к той его наиболее востребованной сегодня аспектации, которая рассматривает минувшее сквозь призму трагической коллективной памяти, вины, жертв и всего того, что П. Штомпка называл «культурной травмой» [216, с. 6].

Дж. Торпи предупреждал коллег-исследователей о том, что «устраняя вред, нанесенный прошлым, недопустимо, чтобы историческая политика заслоняла или заменяла нам мечту о прогрессе и будущем» [303, с. 26]. Аналогичной позиции придерживался и Х. Вельцер, констатирующий, что «под тяжестью исторических катастроф произошло смещение приоритетов в наших оценках прошлого, настоящего и будущего; возникли перекосы, в результате которых горизонт будущего сужается, зато в такой же мере увеличивается обращенность к прошлому» [Цит. по: 17]. Ученый полагал, что общественное развитие не может и не должно строиться вокруг

негативного прошлого – оно должно концентрироваться вокруг позитивных социальных достижений, технологического и ценностного прогресса и пр.

Однако проблематика прошлого, в том числе и прошлого как истории травмы, не утрачивает своей востребованности, а на каждый аргумент «антимемориалистов» их оппоненты находят свои и чрезвычайно убедительные. Так, например, по словам Ф. Артога, «нет сомнения, что преступления XX века с его массовыми убийствами и чудовищной индустрией смерти – это те потрясения, от которых пошли волны памяти, в конце концов, достигшие и в сильнейшей степени поколебавшие наши современные общества. Прошлое не “прошло”, и во втором или третьем поколении к нему обратились за ответом» [12].

Пожалуй, стоит согласиться с позицией Ф. Артога и других исследователей, разделяющих ее. До тех пор, пока кризис национальных и локальных идентичностей, кризис межкультурных и межэтнических коммуникаций, кризис социокультурной саморефлексии, кризис памятей, зажатых между стремлением к тотальному забвению и гипермнезии (синдром повышенной способности к запоминанию и воспроизведению информации о социальных потрясениях) находятся в острой фазе, значимость «проработки трудного прошлого» (Т. Адорно) будет лишь возрастать.

В целом причины актуализации обращения к проблеме прошлого, вокруг которого и выстраивается феномен мемориальной культуры, сводятся, на наш взгляд, к нескольким общим основаниям:

1. Идентификационному (восприятие прошлого как источника новых идентификационных программ и объединяющих идей).

Как абсолютно точно отметил А. Мегилл, «наиболее характерной особенностью современной жизни является недостаток стабильности на уровне идентичности, что приводит к проекту конструирования памяти с целью конструирования самой идентичности» [121, с. 146].

2. Политическому (понимание прошлого как ресурса легитимизации актуальных процессов и явлений).

Никто, пожалуй, не сформулировал возможности прошлого как инструмента политической борьбы лучше, чем это сделал в романе «1984» Дж. Оруэл: «”Кто управляет прошлым, – гласит партийный лозунг, – тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым”. И, однако, прошлое, по природе своей изменяемое, изменению никогда не подвергалось. То, что истинно сейчас, истинно от века и на веки вечные. Все очень просто. Нужна всего-навсего непрерывная цепь побед над собственной памятью. Это называется “покорение действительности”; на новоязе – “двоемыслие”» [138, с. 14].

Прошлое всегда выступало агентом властного дискурса, а потому всегда было той идейно-событийной основой, на которой выстраивается транслируемый образ прошлого и официальная политика памяти.

3. Психологическому (стремление проработать, осознать, проанализировать прошлое для преодоления травматических воспоминаний).

Как точно подметил Дж. Олик, «прошлое не ушло из общественной повестки дня, но теперь это не золотой век, о котором так много прежде говорилось в социальном дискурсе, – в нем видится нечто ужасное, отвратительное» [291, р. 121–22.]. О том, что прошлое сегодня рассматривается как главный источник современных социальных патологий и кризисов, говорит и Дж. Торпи [302, р. 63–73]. Действительно, внушительный массив мемориальной литературы связан именно с изучением категорий коллективной психологии – вины, травмы, жертвы и пр.

Однако в контексте психологических причин актуализации осмысления прошлого речь может идти и о позициях более широкого масштаба. Магистральная идея работы П. Нора «Франция-Память» заключается в доказательстве того, что памяти и стоящего за ней реального, живого прошлого больше нет. Осознание утраты прошлого, воспринимаемого как основа настоящего, как фундамент существования – источник колоссального

психологического дискомфорта, главным механизмом компенсацией которого становится попытка остановить ускользающее прошлое посредством создания его симулякров (архивов, музеев, мемориального кино и пр.).

Собственно, примерно об этом говорил и Г. Люббе: «Необыкновенное внимание к артефактам прошлого и активное участие в ритуалах, организуемых вокруг них, объясняется тем, что усилиями исторического сознания компенсируется утрата чувства знакомого в культуре, утрата, обусловленная темпом изменений. Необходимость таких усилий увеличивается прямо пропорционально процессу модернизации» [111, с. 98].

4. Коммуникационно-информационному (с одной стороны рост технического потенциала для сохранения большого объема культурной памяти, с другой – утрата истинной потребности в «следах» прошлого).

П. Нора посвятил десятки страниц своего фундаментального труда перечислению примеров того, как реализуется современная борьба за прошлое. Главный ее итог – тотальный, не пригодный для осмысления и переработки объем накопленной информации, собранной вне строгой логики и стратегии, «на всякий случай». Эта информация репрезентуется в формате архивных собраний, музейных коллекций, скульптур, мемориальных композиций – всего того, что П. Нора называл местами памяти.

Однако в реальной жизни, прежде всего, под воздействием медиа- и интернет-коммуникации, формируется обратная потребность – в обновлении, в поиске новых данных, «свежих» фактов. Старое (что, собственно, и является памятью как таковой) безжалостно удаляется в «корзину» и подлежит забвению. Ж.-Ш. Шурек связывал такое демонстративное, но не глубинное внимание к прошлому «разрывом с традиционными типами сообщения о прошлом». «Семейная и локальная связь, – писал он – «в рамках которой прошлое передавалось устно представителями поколений-свидетелей, живших под одной крышей, сменилась его сокращенной передачей, в которой преобладали как приобретенные знания, так и

различные области производства памяти, поскольку речь идет именно о производстве» [223].

Этими же причинами объясняется и интерес к мемориальной культуре. Однако стоит отметить, что эпистемологическая ситуация, сложившаяся вокруг мемориальной культуры, несколько отличается от аналогичной ситуации, связанной с близкими, но не тождественными ей понятиями, прежде всего, понятиями культурной (исторической, культурно-исторической – в разных формулировках у разных ученых) памяти, политики памяти, коммеморации и пр.

Во-первых, понятие и стоящее за ним явление мемориальной культуры можно назвать молодым, формирующимся и достаточно плохо разработанным, несмотря на довольно частое употребление самого термина. По словам А. Ассман, «мы используем его в научных дискурсах, в выступлениях политиков, в публикациях СМИ и даже в повседневной разговорной речи. Мы регулярно встречаемся с ним, будь то в воскресной проповеди или в передовице еженедельника “Шпигель”, поэтому не отдаем себе отчет, насколько новым является это словосочетание – “мемориальная культура”» [17]. Во многом именно поэтому автор приведенной цитаты, в трудах которой мемориальная культура является центральным понятием, не дала ей сколько-нибудь четкого определения.

В контексте нашей исследовательской логики *под мемориальной культурой* понимается система историко- и социально-детерминированных, устойчивых, воспроизводимых способов познания, интерпретации, описания, сохранения, трансляции прошлого, репрезентируемых в различных формах мемориальной деятельности.

Во-вторых, именно в силу отсутствия четкой теоретической определенности (хотя бы в масштабах отдельных авторских позиций), до сих пор не выработано методологии изучения мемориальной культуры. Действительно, довольно сложно предлагать пути изучения того, смысловое наполнение чего достаточно размыто. Понятие мемориальной культуры

часто используют как синоним культурной памяти, политики памяти, коммеморативных практик и пр. В этом случае на мемориальную культуру экстраполируются методологические подходы, предназначенные для изучения отождествляемых с ней явлений. Однако вопрос о методологии изучения собственно мемориальной культуры остается открытым и тем более сложным, чем чаще происходит указанная подмена понятий.

В целом же нам бы хотелось сконцентрировать внимание не столько на актуальности *феномена* мемориальной культуры (она, как мы отметили, в целом совпадает с актуальностью обращения к осмыслению прошлого в целом, а об этом сказано уже немало), сколько на актуальности *понятия* «мемориальная культура».

В мемориальных исследованиях часто звучит внутренняя претензия к их терминологической неопределенности и избыточности – современные *memory studies*, расширяя тематические горизонты исследований, расширяют и их терминологическую базу, вводят в научный дискурс новые понятия с подвижными смысловыми границами. Поэтому интеграция в культурологическую риторику понятия мемориальной культуры должно быть очевидно оправданно и должно решать новые исследовательские задачи, а не просто пополнять и без того переполненный понятийный аппарат мемориальных исследований.

На наш взгляд, понятие мемориальной культуры в сравнении с иными близкими понятиями имеет ряд неоспоримых преимуществ, позволяющих выйти на новый уровень познания различных мемориальных явлений.

Во-первых, теоретическая, методологическая и инструментальная привлекательность мемориальной культуры заключается в том, что она представляет собой более пластичное (в сравнении, скажем, с феноменом культурной памяти), социально масштабируемое явление. Сегодня все чаще звучат призывы к «денационализации» мемориалистики, обращению к мемориальным явлениям, существующим вне жестких границ нации. Так, например, М. Ротберг с коллегами Д. Саньял и М. Сильверманом

«предлагает отказаться от понятия “места памяти” (как слишком замкнутого и однозначного) в пользу понятия “узлы памяти”, более адекватного для описания сложных процессов современного глобального постколониального мира, поскольку оно отличается поливалентностью, подвижностью, открытостью и неоднозначностью» [43].

Мемориальная культура не имеет жесткой привязки к нации, хотя в некоторых случаях и связана с ней. Ее инициаторами и носителями могут быть как локальные субкультурные объединения, отдельные этнические группы, так и целые государства. В этом смысле она обладает большей (в сравнении, скажем, с культурной памятью) позиционной пластичностью и способностью к социальному масштабированию

Мемориальная культура может существовать на различных уровнях социальной иерархии, обладающих определенными признаками (наличие мемориального нарратива, акторов, медиумов и пр.), а потому обращение к ней позволяет в равной степени эффективно и эвристично изучать как локальные, так масштабные общности; как местную мемориальную самобытность, так глобальные мемориальные процессы. В этом, по мысли профессора Университета города Нью-Йорка С. Канагараджа, и заключается основное преимущество мемориальной культуры – она совмещает в себе методологический потенциал изучения различных социальных объектов – локальных и глобальных, пространственно-определенных (города, местности и пр.) и социально-символических (культурные сообщества) [269].

Во-вторых, мемориальная культура, как видно из определения, представляет собой целый комплекс разнообразных мемориальных явлений. Она включает в себя не только официальные, институализированные, регламентированные практики поминовения (как политическая или культурная память), но и так называемые низовые формы мемориальной активности, которые, по мысли Г. Е. Гун, должны выступить необходимым и важным условием общего мемориального баланса общества, а ее смыслы и

символы – интегрироваться в общий мемориальный нарратив эпохи [59, с. 49].

По словам А. Ассман, «понятие мемориальной культуры охватывает нечто гораздо большее, нежели государственные мемориалы и выступления государственных функционеров или публичных политиков; она опирается на живую активность гражданского общества, осуществляющуюся в виде бесчисленных исторических проектов, куда вовлечена и молодежь, которая таким образом соприкасается с немецкой историей в своем непосредственном окружении. Импульс для локальных инициатив рождается в конкретных населенных пунктах, жители которых слой за слоем открывают для себя свою историю» [17].

В-третьих, мемориальная культура (опять же в сравнении с культурной памятью, например) – более операционализируемое, а потому измеряемое понятие, верифицируемое через набор конкретных признаков (содержательных, структурных, функциональных).

В-четвертых, важно подчеркнуть, что ключевым вопросом современной гуманитарной повестки является кризис идентичностей – национальных, гендерных, религиозных, территориальных и др. В такой ситуации изучение мемориальной культуры содержит значительный идентификационный потенциал: как минимум позволяет просто зафиксировать актуальное состояние идентичности, а как максимум – внести в нее позитивизирующие коррективы. На подобную связь идентичности и мемориальной культуры указывают и зарубежные, и отечественные ученые. Так, например, П. Д. Бьюкенен в книге «Смерть Запада» пишет: «Уничтожьте записи о прошлом народа, оставьте его жить в невежестве относительно деяний предков – и опустевшие сосуды душ легко будет заполнить новой историей, как это описано в “1984”. Развенчайте народных героев – и вы деморализуете целый народ» [40, с. 237].

М. Л. Шуб такую содержательно-ценностную смычку мемориальности и идентичности назвала мемориальной идентичностью, то есть

«темпоральной (ретроспективной) связью отдельного человека или группы с социальной и/или пространственной средой бытования...», которая проявляется «в более или менее осознанном и деятельном принятии членами определенного коллектива контента культурной памяти, который этот коллектив считает для себя легитимным» [300, с. 18].

Остается лишь резюмировать, что именно мемориальная культура предстает тем системным, обобщающим явлением, которое дает возможность понять сложный, а порой и противоречивый характер мемориальных процессов, протекающих в той или иной культуре, комплексно оценить мемориальный портрет эпохи, складывающийся не только из официальных практик поминовения, но и из внеинституциональных, стихийных форм мемориальной активности. Мемориальная культура выступает эвристичным, пластичным, адаптивным исследовательским инструментом, позволяющим не только под новым углом зрения взглянуть на уже хорошо изученные мемориальные феномены, но и включить в орбиту исследовательских интересов новые.

К разговору об актуальности мемориальной культуры в целом (и как понятия, и как явления) стоит добавить еще несколько слов относительно значимости изучения мемориальной культуры в ее локальном измерении. В нашем случае таким измерением выступает Чеченская Республика.

Во-первых, изучение мемориальной культуры современной Чеченской Республики – это значимый ресурс формирования новой национальной идентичности. Или, если говорить, точнее – адаптации уже существующей национальной идентичности к новым историческим, политическим, социокультурным условиям. О том, что в структуре национальной идентичности чеченцев сейчас происходят определенные содержательные изменения, говорят разные исследователи. Так, например, В. А. Шнирельман в работе «Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX век» пишет о «резком усилении роли представлений о прошлом в формировании этнической идентичности на Северном Кавказе» [215, с. 9].

А. Х. Боров характеризует Юг России (имея ввиду, прежде всего, Кавказ) как регион переходности, прежде всего, идентификационной. Источники переходности, по его мнению, кроются в «наследии нерешенных проблем прошлого, и общей незавершенности процессов модернизации в регионе, и новых вызовов экономической, политической и культурной глобализации. В силу этого для народов Северного Кавказа сохранится определенная напряженность между необходимостью соответствовать требованиям открытого и конкурентного мира современности и потребностями сохранения своей культурно-исторической идентичности» [33, с. 246].

Изучение мемориальной культуры в этом контексте, осознание того, как современные чеченцы воспринимают прошлое, оценивают его, поможет не только осмыслить суть происходящих идентификационных трансформаций, но и сделать их более созидательными и ресурсными. История нередко дает основания для конфликтов, что аргументированно и убедительно показал В. А. Шнирельман в упоминавшейся нами книге. Культурологический же взгляд на прошлое сквозь призму мемориальной культуры скорее ищет точки солидаризации, причины конфликта и способы их разрешения; не оценивает и не агитирует, а констатирует и объясняет.

Во-вторых, именно поэтому, обращение к локальному этническому варианту мемориальной культуры открывает новые перспективы для межкультурного, межэтнического и межгосударственного диалога между собственно носителем этой культуры (отдельного этноса) и теми мемориальными субъектами, с которыми он так или иначе контактирует. В нашем случае – это Россия как государство и Россия как особый тип культуры, в том числе и мемориальной, в отрыве от которой мемориальная культура Чечни существовать не может. По мысли С. Канагараджа, именно познание локальности («localknowledge») стимулирует исследовательский выход за строгие границы конкретных объектов (районов, городов, местностей), инициирует поиск специфики и универсальности:

«Мемориальная культура помогает развить плюралистический способ мышления, с помощью которого мы познаем различные культуры и идентичности, но при этом участвуем в проектах, общих для нашего общего человечества ...» [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 257].

Проведенное нами исследование современной чеченской мемориальной культуры позиционирует теоретическое и культурно-историческое основания для последующего сравнения мнемонических паттернов современных чеченцев и россиян, чтобы увидеть через них точки содержательного, ценностного соприкосновения и точки разрыва, болевые зоны, и уже на этой базе корректировать векторы взаимодействия двух народов, культур, делая его более эффективным и созидательным. В данном контексте вспоминаются слова К. Поппера о том, что задача гуманитарных наук состоит не в ликвидации конфликтов (в том числе этнических, религиозных, идеологических), но в их нормализации, в снижении градуса их остроты.

В целом, прошлое играет огромную, определяющую роль в самосознании жителей Кавказа вообще и чеченцев в частности. Как отмечает В. А. Шнирельман, «для северокавказцев эта история имеет несравнимо большее значение, чем, например, для белых американцев. Если в ответ на вопрос о роли прошлого в их жизни американцы обращаются прежде всего к фактам личной или семейной истории, то обитатели Северного Кавказа говорят о прошлом своего народа. Аналогичным образом, вспоминая об исторической личности, оказавшей на них наибольшее влияние, американцы сплошь и рядом говорят о каком-либо родственнике, тогда как северокавказцы неизменно называют имя Шамиля» [215, с. 9]. О. С. Павлова такую роль истории и прошлого для современных чеченцев обозначила емко и лаконично: «Каждый чеченец – историк» [142, с. 41].

Степень научной разработанности темы.

Мемориальная культура представляет собой междисциплинарное явление, практически с равной степенью интенсивности изучаемое сотнями

исследователей по всему миру, принадлежащих к различным отраслям гуманитарного знания. Стоит отдельно отметить, что так или иначе проблему мемориальной культуры, то есть совокупности различных практик взаимодействия с прошлым, рассматривали все ученые, которые в той или иной степени занимались (занимаются) феноменом прошлого и сопряженных с ним явлений (культурной памяти, исторического сознания, коммемораций и пр.). Поэтому в данном пункте формализованной части диссертации мы решили ограничить объем анализа лишь теми работами, которые имеют к мемориальной культуре *непосредственное* отношение.

В качестве базового предмета мемориальная культура выступает в целом ряде зарубежных и отечественных исследований. Как комплексная, общесоциальная стратегия взаимодействия с прошлым (в интерпретации, наиболее близкой нашему пониманию данного явления) мемориальная культура раскрывается во всех работах последних лет А. Ассман и ее соавтора С. Конрада.

Ф. Артог («режим историчности»), Й. Рюзен («исторический нарратив»), М. Бернхард и Я. Кубик («режим памяти»), не используя непосредственно понятия мемориальной культуры, поднимали вопросы о формировании некоего общего темпорального режима культуры, аккумулирующего базовые для группы представления о прошлом и влияющего на модели социального действия.

Целый ряд ученых рассматривал отдельные аспекты мемориальной культуры: И. Зарецка – специфику ее официальной публичной репрезентации («фреймирования»); А. Парр – сущностные взаимосвязи с травмирующими воспоминаниями; Т. Кулич – влияние на социальные процессы (мемориальный контроль, подавление и вытеснение, механизмы мемориальной солидаризации и пр.); М. Аллен – экономический контекст реализации мемориальных стратегий; Г. Бозоглу – инкорпорированность в музейные практики и восприятие музейной аудиторией; А. Аркангели и М. Тамм – историческую эволюцию мемориальной культуры в Средние века

и в эпоху Возрождения; А. В. Святославский – преломление в мемориальной культуре коммеморативной и реконструктивной видов деятельности; Е. В. Сазонникова – связь мемориальной культуры с конституционно-правовым полем.

Стоит упомянуть также и исследователей, которые не оперируют понятием «мемориальная культура», однако, по сути, рассматривают явления, содержательной близкие ей, выступающие ее официальной, регламентированной основой:

– культуру памяти как некую социальную традицию, определяющую объем сохраняемых воспоминаний и воспоминаний, подлежащих забвению (Й. Ганценмюллер, К. Шмид, М. Л. Шуб);

– мемориальную политику как систему художественно-мемориальной пропаганды (М. Б. Гуров, О. Ч. Реут); как политику памяти (О. В. Леонова, Д. Н. Нечаев); как инструмент государственной политики «мягкой силы» (Н. А. Медушевский);

– политику памяти как государственную политику в мемориальной сфере (О. Ю. Малинова, А. И. Миллер, О. Ф. Русакова, Р. Траба);

– историческую политику как систему использования различных государственных ресурсов (властных, административных, финансовых) в сфере политики памяти (К. Леггеви, К. Майер, А. В. Трофимов).

Нельзя не упомянуть работы авторов, которые занимались осмыслением надындивидуальной памяти, составляющей ядро мемориальной культуры. Мы не занимались специальным погружением в данный сектор мемориальных исследований, рассматривая лишь типы коллективной памяти, «задействованные» в различных формах мемориальной активности. В этом контексте стоит упомянуть исследования А. Ассман, Я. Ассмана, М. Бэла, А. Мегилла, П. Новика, П. Нора, М. Хальбвакса, М. Л. Шуб.

Проблема субъектной основы мемориальной культуры (ее акторов) поднималась в работах А. Ассман, Ф. Артога, М. Бернхарда, Я. Кубика, О. Ю. Малиновой, А. И. Миллера, Й. Рюзена.

Мемориальная культура представляется сложным, многокомпонентным явлением, включающим в себя различные по сути, характеру, функционалу, формам репрезентации мемориальные формы. Поэтому в современной мемориалистике сложилось отдельное направление, ориентированное на точечно-избирательный подход к мемориальной культуре, на изучение ее отдельных морфологических единиц.

Так, общетеоретическими вопросами мемориального нарратива занимались Г. Гилл, Дж. Верч, О. Ю. Малинова, А. И. Миллер, Л. П. Репина, В. Середа, А. Эткин. И. В. Тевьяева разрабатывала проблему мнемического нарратива, то есть мемориального повествования, сконструированного на основе не официального, а персонального мемориального опыта. Дж. Диксон и Е. Топольский акцентировали внимание на морфологии мемориального нарратива, Л. Ю. Логунова, В. А. Рычков, Й. Рюзен – на его типологических параметрах. Л. Б. Зубанова и М. Л. Шуб анализировали специфику репрезентации современного российского мемориального нарратива в пространстве СМИ, блогосферы и кинематографа.

Ф. Арьес, А. В. Святославский, П. Хаттон, Э. Хобсбаум, М. Л. Шуб, Ж.-Ш. Шурек являются авторами работ, посвященных коммеморациям как одному из форматов официальной мемориальной деятельности.

Г. Бозоглу, З. Бонами, Л. А. Брагина, А. М. Разгон, Э. Содаро изучали мемориальные музеи (и российские, и мировые) как центры генерации и презентации официальной мемориальной риторики, их генетическую специфику в сравнении с музейной институцией как таковой, особый функционал и опыт существования в различных социальных и политических контекстах.

Феномену мемориального искусства посвящены работы А. Ассман, И. Хеджес (родоначальник отдельного направления в мемориальных

исследованиях – «cinema memory»), М. Хирш, М. Л. Шуб, которые на примере различных видов искусства (перформанс, кинематограф, литература, изобразительное искусство) иллюстрировали механизмы визуализации содержания официального или альтернативного ему нарратива.

Одним из наиболее востребованных сегодня направлений мемориальной деятельности является мемориальный туризм. Он в равной степени может рассматриваться и как часть государственной политики памяти, и как часть повседневных (нередко экстремальных) мемориальных стратегий. Данные аспекты мемориального туризма нашли отражение в трудах Н. Дрвенкар, Дж. Ленона, М. Фоли, Е. Чоена. К. Б. Костин и Н. Ли посвятили целую серию работ осмыслению причин популярности мемориального, в том числе и «черного» туризма. А. В. Ситон изучал типы мемориальных путешествий; Ф. Стоун – их классификацию; А. Ассман – связь с «местами травмы», то есть с травмирующими воспоминаниями.

Отдельная группа исследователей занималась изучением мемориальной культуры сквозь призму виртуальной формы ее бытования. Так, например, Д. Р. Кристенсен и С. Готвед сосредоточили свое внимание на практиках онлайн-поминовения. Т. Вальтер рассматривал мемориальную культуру как совокупность кейсов виртуального переживания смерти, репрезентированного посредством различных типов онлайн-траура. Э. Майер и К. Леггеви анализировали специфику превращения личных воспоминаний о трагедии 11 сентября 2001 года в коллективную киберпамять. Группа исследователей (Дж. Р. Бейкер, Э. Виллинс, П. Дауриш, Б. Кэрри, К. Ландри, Дж. Р. Найес, П. Ферруччи) акцентировали внимание на изучении «мертвых страниц» в социальных сетях и на их функционировании после смерти их владельцев.

Частная мемориальная активность (стихийные коммеморации) стала главной темой изучения П. Ж. Маргри, К. Санчез-Карретеро, Дж. Сантино. Практики создания придорожных крестов и иных объектов спонтанной мемориализации стали предметом исследований Х. Эверетт, А. Юдкиной,

А. Соколовой (она же занималась изучением мемориальных кейсов как реакции на локальные трагедии).

Значимая часть нашей работы посвящена мемориальной культуре Чеченской Республики. Поскольку в основе мемориальной культуры лежит надындивидуальная память и базовый мемориальный контент, ее составляющий, мы не могли не обратиться к выявлению и анализу такого рода контента («узлы памяти») культурной памяти чеченского народа. Различные знаковые события чеченской истории рассматривались в работах М. Блиева, М. Вачагаев, Э. Дармиловой, В. Ф. Димаевой, С. Жемчураевой, З. Ибрагимова, З. С. Исакиевой, М. М. Керимова, С. С. Цуцулаевой, В. Шнирельмана, М. Яндиевой и др.

Феномен мемориальной культуры Чеченской Республики остается фактически вне поля зрения современных исследователей. В данном контексте исключения составляют лишь работы А. Х. Борова (общий исторический, социально-политический контекст формирования мемориальной политики народов Северного Кавказа), О. С. Павловой (специфика национальной чеченской идентичности, в том числе роль в ее формировании исторических представлений, традиций, обычаев и пр.), В. Х. Тхакахова (проблема мемориальной топонимики городов Северного Кавказа), В. Шнирельмана (специфика становления исторического знания и исторических мифов на Северном Кавказе, содержание картины прошлого).

В качестве источниковой базы выступили

1. официальные государственные документы, позволившие определить нормативно-правовую стратегическую основу политики памяти Чеченской Республики: Государственная программа Чеченской Республики «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике», Единая Концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики, Концепция государственной национальной политики Чеченской Республики, Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года, Указ Президента РФ «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

2. стенограммы официальных публичных выступлений Р. Кадырова (Инаугурация Рамзана Кадырова, интервью Р. Кадырова Телеканалу «Россия 24», интервью «Крах однополярного мира. Мнение Рамзана Кадырова по ситуации на Украине», Текст послания Главы Чеченской Республики на 2019 год, Текст послания Главы Чеченской Республики на 2022 год);

3. интервью современных чеченских режиссеров (Р. Магомадова, Б. Терекбаева, А. Юшаева), опубликованные в формате свободного доступа на различных сетевых площадках.

Проведенный нами анализ теоретической базы диссертации наглядно иллюстрирует две очевидные тенденции: во-первых, дефицит системных, концептуальных исследований мемориальной культуры как феномена; во-вторых, фактически полное отсутствие исследовательского внимания к феномену мемориальной культуры Чеченской Республики и всего Северного Кавказа.

На основании этого можно говорить о **проблеме исследования**, заключающейся:

– во-первых, в недостаточной проработанности (и на теоретическом, и на методолого-инструментальном уровнях) культурологической концепции мемориальной культуры, репрезентующей не только собственно представления о прошлом представителей той или иной культуры, но и их ценностные, мировоззренческие, идентификационные установки, которые могут и должны учитываться при разработке важнейших стратегических государственных документов в сфере культуры и национальной политики;

– во-вторых, в отсутствии исследовательской практики социокультурной локализации концепции мемориальной культуры применительно к современной Чеченской Республике, позволяющей более глубоко понять специфику чеченской культуры, содержание идентичности чеченского народа на современном этапе его развития, особенности

национального самосознания и самопрезентации в социокультурном пространстве, оптимизировать межкультурные взаимодействия с представителями иных культур.

Цель исследования: концептуализировать феномен мемориальной культуры (определить терминологические и сущностные границы, функционально-морфологические и типологические параметры); адаптировать разработанную концепцию для выявления сущности современной мемориальной культуры Чеченской Республики.

Задачи:

1. На основе критического анализа актуальных гуманитарных концепций определить место мемориальной культуры в актуальной исследовательской практике, теоретико-методологические тренды ее изучения;

2. Концептуализировать феномен мемориальной культуры на терминологическом, сущностном, типологическом, функциональном уровнях;

3. Дать характеристику структуры мемориальной культуры с точки зрения различных критериальных оснований;

4. Выявить узлы памяти чеченского народа как наиболее знаковых исторических «событий», определяющих актуальные представления о прошлом, национальной истории и содержание идентичности чеченцев, и дать им комплексную интерпретацию;

5. Обосновать содержание государственной мемориальной политики Чеченской Республики;

6. Определить особенности официального уровня мемориальной культуры современной Чеченской Республики посредством анализа его ключевых направлений (мемориальный нарратив, мемориальное искусство, мемориальный нейминг);

7. Разработать и апробировать методику культурологической диагностики «социального» («низового») уровня мемориальной культуры Чеченской Республики;

8. Осмыслить особенности когнитивного (персонифицированного и топографического) и деятельного (мемориальная активность) измерений современной чеченской мемориальной культуры;

9. Определить основные характеристики современной мемориальной культуры Чеченской Республики, ее эффективность, точки пересечения официального и «социального» уровней.

Объект исследования: Феномен мемориальной культуры.

Предмет исследования: Сущностные, структурные, функциональные, типологические параметры мемориальной культуры как феномена и специфика их репрезентации в социокультурных реалиях современной Чеченской Республики.

Научная новизна исследования. Основные результаты исследования, определяющие его научную новизну:

– на основе систематизации и критического анализа многообразия гуманитарных концепций зафиксирован теоретико-методологический контекст изучения мемориальной культуры, выявлены содержательно-смысловые лакуны в осмыслении данного феномена, зоны концептуальных противоречий;

– разработана концепция мемориальной культуры как системы историко- и социально-детерминированных, устойчивых, воспроизводимых способов познания, интерпретации, описания, сохранения, трансляции прошлого, репрезентируемых в различных формах мемориальной деятельности; обоснованы ее сущностные черты, морфологические, типологические и функциональные, субъектные (акторные) параметры;

– определена структура мемориальной культуры с позиции различных критериальных оснований: соподчинения, регламентированности и функциональности;

– выявлены и интерпретированы наиболее значимые узлы памяти чеченского народа (принятие ислама, кавказские войны, депортация чеченского и ингушского народов, участие в ВОВ, российско-чеченский войны), позволившие сделать выводы о специфике национальной чеченской культурной памяти;

– на основе нарративного анализа официальных государственных стратегических документов выделены ключевые тренды актуальной мемориальной политики Чеченской Республики (преобладающая роль государства; понимание мемориальной политики как условия формирования и укрепления национальной идентичности; системность; созидательный характер; масштабность; адаптационность; концептуальная рандомность);

– осуществлен анализ официального уровня современной мемориальной культуры Чеченской Республики (мемориальный нарратив, мемориальное искусство, мемориальный нейминг), позволивший сделать вывод о позиционировании государства как базового мемориального актора; синтезе уважения к прошлому и деятельной устремленности в будущее; восприятию прошлого как идентификационной основы и ресурса актуальности; преобладании национального (локального) и военно-религиозного компонентов мемориальной культуры;

– на основе апробации авторской методики культурологической диагностики «социального» уровня мемориальной культуры выявлены особенности его когнитивного элемента (персонифицированного и топографического измерений), в рамках которого основной акцент делается, во-первых, на национальной истории и современности, во-вторых – на политической, военной и религиозной сферах, в-третьих – на гармоничном единстве публичного и приватного;

– зафиксированы и содержательно определены отличительные черты мемориальной активности современных чеченцев (доминирование частно-семейных форм поминовения, высокий уровень их повседневной

востребованности, резистентность к современным, виртуально-сетевым формам мемориализации);

– обоснованы особенности современной мемориальной культуры Чеченской Республики (традиционность и консервативность; доминирование милитаристского и религиозного смысловых компонентов; консолидированность; локальное центрирование; приватность; коллективный характер; эффективность).

Теоретическая и практическая значимость работы.

Теоретическая значимость представленного диссертационного исследования видится в концептуализации феномен мемориальной культуры. В частности, автором на основе анализа значительного массива трудов исследователей-гуманитариев зафиксирована ситуация, с одной стороны, широкой востребованности понятия «мемориальная культура», а, с другой – недостаточной теоретической и методологической проработанности соответствующего ему феномена. В работе представлено терминологическое оформление мемориальной культуры как системы «взаимодействия» (его сохранение, интерпретация, инструменты трансляции, актуализации, выстроенные на этой идейно-ценностной базе мемориальные формы деятельности и пр.) с прошлым в рамках той или иной культуры; определены ее сущностные черты (позволяющие содержательно разграничить мемориальную культуру от близких ей понятий, например, культурной памяти); выявлены функции и типы мемориальной культуры, ее акторы, то есть наиболее активные субъекты мемориальной деятельности; предложен авторский подход к структуре мемориальной культуры. С опорой на теоретическую концепцию автор диссертации разработал собственную методику изучения локально-национального варианта мемориальной культуры – мемориальной культуры Чеченской Республики. Данная методика ориентирована на осмысление как официального уровня чеченской мемориальной культуры (государственная мемориальная политика и формы ее реализации в сфере официальной риторики, искусства, городского

нейминга), так и ее «низового» уровня (системы мемориальных представлений и мемориальной активности современных жителей Чечни). Ее апробация позволила в целом сформулировать специфику мемориальной культуры Чеченской Республики, определить ее эффективность, увидеть контурные перспективы развития.

Также результаты представленного диссертационного исследования могут быть использованы в педагогическом процессе, при подготовке образовательных курсов, например, по истории Чеченской Республики, культурологии, истории культуры, культурной политике, национальной политике, социокультурному менеджменту, *memorystudies*.

Практическая значимость представленного диссертационного исследования заключается в возможности его использования в разработке и реализации специализированных учебных курсов для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Культурология», «История», «Музеология и охрана объектов культурного и природного значения» и др. Диссертация также может стать основой при разработке авторских курсов для обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры «Феномен мемориальной культуры», «Современная мемориальная культура Чеченской Республики».

Результаты прикладного исследования, а также теоретические выводы, сделанные автором диссертации, могут быть использованы при разработке различных государственных документов (стратегий, планов) в сфере культурной и национальной политики как Чеченской Республики, так и Российской Федерации.

Методология и методы диссертационного исследования.

Феномен мемориальной культуры является объектом изучения целого ряда гуманитарных дисциплин и отраслей научного знания, поэтому в представленной диссертации мы апеллировали к теоретико-методологическому и методическому инструментарию различных наук – культурологии, истории, философии, искусствоведения, социологии и др.

Оговоримся, что, хотя мемориальная культура является центральной темой *memory studies*, мы не обращались к их методологическому арсеналу (хотя учитывали наработки отдельных представителей), поскольку последние не выработали собственной, уникальной методологии, используя методологические достижения гуманитаристики в целом.

В самом словосочетании «мемориальная культура» заложен отсыл к базовым в контексте нашей диссертации категориям – культуры и памяти.

Под культурой мы понимаем одновременно и систему ценностей, выработанных и освоенных тем или иным обществом на определенном этапе его существования (ценностный подход); и деятельность, в ходе которой эти ценности находят свое практическое воплощение в различных поведенческих паттернах (деятельностный подход). Нельзя не отметить и подход к интерпретации культуры Ю. М. Лотмана, в рамках которого культура понимается как социальная память, как механизм генерации и трансляции текстов, выступающих в роли «мемориальных капсул».

В качестве исходных для диссертационного исследования методологических установок мы сформулировали следующие: во-первых, установку на системный подход к пониманию мемориальной культуры как совокупности разнообразных (по характеру, форме, субъекту, функциям и пр.) способов взаимодействия с прошлым; во-вторых, установку на то, что коллективная память, лежащая в основе мемориальной культуры и формирующая ее ретро-контент, транслирует реконструируемый, символически и эмоционально насыщенный, а не объективно научный образ прошлого (А. Ассман, Я. Ассман, Д. Лоуэнталь, А. Мегилл, П. Нора и пр.).

Отправной методологической точкой нашего исследования стала концепция мемориальной культуры А. Ассман, в рамках которой мемориальная культура трактуется как совокупная система социальных представлений о прошлом, репрезентуемая в различных видах и формах деятельности, как регалментируемых государством, так и являющихся инициативой отдельных людей. Хотя концепция А. Ассман была разработана

и эмпирически адаптирована на материале немецкой мемориальной культуры, она в известной степени обладает свойствами универсальности и может применяться для осмысления иных национальных мемориальных культур.

При разработке авторского понимания сущности мемориальной культуры были также учтены идеи Ф. Артога (концепция режимов историчности), Й. Рюзена (концепция исторических нарративов), И. М. Савельевой и А. В. Полетаева (концепция символических универсумов).

Собственно, решение такого рода задачи было во многом возможно лишь благодаря выявлению специфических черт феномена мемориальной культуры в ряду близких, но нетождественных ей явлений. Данная методологическая задача решалась благодаря концептуальным наработкам К. Вельцера, А. В. Святославского, М. Л. Шуб (культура памяти), М. Б. Гурова, Н. А. Медушевского, О. Ч. Реут (мемориальная политика), О. Ю. Малиновой, А. И. Миллера, О. Ф. Русаковой (политика памяти), А. В. Трофимова (историческая политика).

Специфика взаимосвязи мемориальной культуры с различными типами надындивидуальной памяти (политической), культурной и коммуникативной раскрывалась автором диссертации с опорой на концепции коллективной памяти А. Ассман, Я. Ассмана, М. Бэлла, М. Хальбвакса.

Определение типологически-критериальных оснований мемориальной культуры базировалось на теоретико-методологических идеях М. Бернхарда и Я. Кубика, Н. Копосова, Д. Н. Нечаева и О. В. Леоновой, М. Ротберга.

Структурно-функциональный подход к мемориальной культуре позволил увидеть в единстве и взаимосвязи, с одной стороны, ее социокультурную миссию, а, с другой – формы и способы реализации этой миссии. Морфология мемориальной культуры выстраивалась с учетом двух методологических идей А. Ассман: во-первых, идеи о сложной, многоуровневой структуре мемориальной культуры (символическая

политика как вершина «мемориальной пирамиды» и «многообразная активность всего общества» как ее основание); во-вторых, о репрезентативном характере мемориальной культуры, существование которой подтверждается и маркируется лишь посредством разнообразных «символических заменителей» (музеев, нарративов, художественных произведений, коммемораций и пр.).

При изучении смысло-ценностного ядра мемориальной культуры, мемориального нарратива, а также при последующем его анализе на примере чеченской мемориальной культуры, мы обращались к теоретическим (Дж. Верч: концепция нарративного шаблона, Дж. Диксон: концепция типологического многообразия мемориальных нарративов) и методико-инструментальным (Г. Гилл: методика анализа советского метанарратива, О. Ю. Малинова, А. И. Миллер: методика изучения локально-тематического мемориального нарратива, методика сравнения нарративов разных мнемонических акторов, Л. Б. Зубанова, Н. Л. Зыховская: методика анализа темпорального контента инаугурационных речей) исследованиям.

Понимание мемориального музея, с одной стороны, как пространства эмоциональных связей (Г. Бозоглу), а, с другой – как пространства рефлексии травм и производства опыта (Э. Содаро) позволило дать ему комплексную характеристику, и как мемориального актора, и как коммеморативной среды.

Обращение к содержательно-деятельностной стороне мемориальной культуры (места памяти, коммеморации) стало возможным благодаря концепциям мест памяти П. Нора, концепции мемориальной инфраструктуры И. Ирвин-Зарецкой и методике компаративного анализа коммеморативных практик О. Ю. Малиновой.

Исходным пунктом изучения мемориальной культуры Чеченской Республики стало выявление наиболее значимых событий, определяющих содержание коллективной памяти чеченского народа. Это стало возможным благодаря теории узлов памяти М. Ротберга, Д. Саньяла и М. Сильвермана.

В этом же содержательном контексте чрезвычайно значимыми представляются две концепции, позволяющие понять специфику чеченской мемориальной культуры, как на стадии ее формирования, так и на стадии актуального функционирования – концепция реконструирования регионального прошлого и формирования этногенетических схем (на материале истории развития северокавказских народов) В. А. Шнирельмана и концепция мемориального нейминга (топонимической политики Чечни) В. Х. Тхакахова.

При изучении «низового» уровня современной мемориальной культуры Чеченской Республики использовался метод глубинного интервью. Выборочная совокупность составила 90 человек. Квотными параметрами данного метода выступили: возраст (полный возрастной охват совершеннолетнего населения Чечни – от 18 до 82 лет), пол (мужчины и женщины в пропорции всего населения Республики – 50.6% и 49.4% соответственно), национальность (этнические чеченцы), локализация (проживание на территории Чеченской Республики).

Обращение к методу глубинного интервью при осмыслении мемориальных представлений и форм мемориальной активности было продиктовано потребностью в выявлении особенностей неофициального (противоположного государственному, институциональному) уровня мемориальной культуры.

Положения, выносимые на защиту.

1. На основе критического анализа многообразных современных мемориальных концепций (М. Ален, Ф. Артог, А. Ассман, М. Бернхард и Я. Кубик, И. Зарецка, Т. Кулич, А. Парр, Й. Рюзен, А. В. Святославский и др.) зафиксирован ряд исследовательских трендов, раскрывающих актуальную специфику изучения мемориальной культуры: во-первых, высокая терминологическая востребованность мемориальной культуры (частота упоминания термина) при контрастно слабой содержательной проработке (концептуализации) данного феномена; во-вторых, как следствие,

смысловое «растворение» понятия мемориальной культуры в ряду близких, но не синонимичных понятий (культура памяти, политика памяти, политика прошлого, историческая политика и др.); в-третьих, доминирование интереса к официальному, институциональному уровню мемориальной культуры (коммеморативные практики, медийные мемориальные стратегии и пр.) при практически полном его отсутствии в отношении стихийно-бытовых форм.

2. Учитывая указанные тренды автором диссертации была разработана концепция мемориальной культуры:

– дано авторское определение (мемориальная культура как система историко- и социально-детерминированных, устойчивых, воспроизводимых способов познания, интерпретации, описания, сохранения, трансляции прошлого, репрезентируемых в различных формах мемориальной деятельности);

– зафиксированы и охарактеризованы сущностные черты мемориальной культуры (публичность, социальность, медиативность, воспроизводимость, ритуализированность, презентативность, деятельностная репрезентация);

– обозначены и проанализированы возможные акторы мемориальной культуры: институции (прежде всего, государство, политические партии), общественные организации, представители политики, образования, религиозной сферы, журналистики, искусства, социальные группы (например, семейный клан), частные лица и др.;

– предложены критерии типологизации мемориальной культуры (доминирующий актор, доминирующий тип репрезентуемой памяти, наличие/отсутствие консенсуса в интерпретации содержания и форм реализации, темпоральная, контентная и ритуальная устойчивость, доминирующий вектор мемориальной деятельности, степень проницаемости различных уровней, характер директивности реализации мемориальной деятельности, функциональная доминанта);

– выявлены и содержательно раскрыты функции мемориальной культуры (идентификационная, интеграционная, ценностно-формирующая, ритуализирующая, стабилизационная, манипулятивная, гуманистическая).

3. Системный подход к пониманию мемориальной культуры позволил определить ее структуру как сложную, многообразную и дифференцируемую с точки зрения различных критериев:

– критерий соподчинения (ядро, то есть идейно-ценностное основание, совокупность представлений о прошлом, его оценок, событийно-символического контента и пр.; периферия – деятельностное воплощение идейно-ценностных установок мемориальной культуры);

– критерий регламентированности (мемориальный нарратив: конвенциональная стратегия публичного позиционирования образа прошлого; официальные формы мемориальной деятельности: официальные коммеморации, деятельность государственных мемориальных музеев, индустрии художественного производства и пр.; неофициальные формы мемориальной деятельности: бытовые и стихийные коммеморации, «независимое» художественное производство, мемориальные программы частных музеев и пр.);

– критерий функциональности (мемориальный нарратив; мемориальные акторы; мемориальные медиумы: институциональные каналы репрезентации содержания мемориальной культуры (музеи, СМИ, система образования и пр.); мемориальная деятельность: формы репрезентации содержания мемориальной культуры (коммеморативные практики, мемориальный туризм, кибермемориализация и др.)).

4. На основании результатов исследования, проведенного автором диссертации, и с учетом результатов аналогичных исследований иных авторов были выделены узлы памяти коллективной памяти чеченского народа, то есть наиболее знаковые «события» (не соответствующие в строгом смысле слова историческим фактам в силу своей эмоциональной окрашенности и мифологизированности) национального прошлого, которые

оказывают мощнейшее влияние на самоопределение чеченцев, на их национальную идентичность и детерминируют общие особенности коллективной памяти. К узлам памяти были отнесены: принятие ислама, Кавказские войны; депортация (1944 г.) и репатриация (1957 г.) чеченского народа; участие в Великой Отечественной войне; российско-чеченские войны 90-х годов.

Анализ указанных ключевых событий позволил определить специфические черты мемориального контента культурной памяти: 1) бинарность (сочетание драматической и позитивной интерпретации одних и тех же событий); 2) доминирование национального компонента над общероссийским; 3) преобладание военного (военно-политического) мемориального нарратива над нарративами иных типов (спортивным, этническим, культурным и пр.); 4) архаизация и аксиологизация прошлого (стремление отодвинуть темпоральную границу национальной истории как можно дальше вглубь времен, оценка прошлого как «золотого века»); 5) персонификация прошлого (восприятие истории сквозь призму деятельности героических личностей).

5. Особенности национальной культурной памяти детерминируют содержание государственной мемориальной политики (политики памяти, исторической политики и пр.), то есть системы государственных ресурсов, в том числе финансовых, правовых, административных, целью практического использования которых является формирование определенного образа прошлого и выбор способов его репрезентации в пространстве актуальной культуры.

На основе анализа официальных документов (стратегий и программ развития) и отраженных в них ключевых направлений государственной мемориальной активности были определены следующие особенности современной мемориальной политики Чеченской Республики: 1) преобладающая роль государства как инициатора источника, регулятора, юридического и материального гаранта мемориальных усилий; 2) понимание

мемориальной политики как условия формирования и укрепления национальной идентичности, которая, с одной стороны, должна опираться на традиционную культуру, ценности, обычаи, уклад, а, с другой – адаптироваться к новым, послевоенным и посткризисным условиям жизни;

3) системность (стремление использовать максимально продуктивно ресурсы всех мемориальных акторов и медиумов, включить в сферу внимания максимально возможное количество направлений мемориальной деятельности);

4) созидательный характер (культивирование конструктивного потенциала прошлого, истории, национальных традиций);

5) масштабность (включение в сферу мемориальных усилий Чечни не только собственного, национального, но общероссийского и общемирового прошлого);

6) адаптационность (ориентированность мемориальной политики Чеченской Республики на преодоление системного кризиса 90-х годов прошлого века);

7) концептуальная рандомность (отсутствие отдельного, специального официального документа, регламентирующего целенаправленную, разноуровневую, верифицируемую деятельность государства в сфере мемориальной культуры).

6. Указанные особенности государственной мемориальной политики, зафиксированные в официальных документах, практически воплощаются, во-первых, в пространстве мемориального нарратива, а, во-вторых, в различных формах официальной мемориальной деятельности (в контексте нашего исследования – это мемориальное кино и мемориальный нейминг). Данные объекты анализа не исчерпывают разнообразия официального уровня мемориальной культуры, однако являются наиболее важными и показательными, с одной стороны, формирующими паттерны восприятия прошлого (публичные выступления, кинематограф), а, с другой – отражающими уже сложившиеся в данной сфере принципы (кинематограф, нейминг).

На основе проведенного исследования были сделаны выводы об особенностях официального уровня мемориальной культуры Чеченской

Республики, к которым относятся: 1) централизация и персонализация (с одной стороны, государство выступает неким обобщенным источником мемориальных усилий, их цензором и гарантом, с другой – оно персонифицируется в конкретных личностях – А. Х. Кадырове и Р. Кадырове, делая их акторами мемориальной культуры); 2) дуалистичность (ориентация на нивелирование, смягчение (но не забвение) травматичных переживаний прошлого, на равно активное обращение как к драматичным, так и радостным событиям истории и современности); 3) синтез историко-объективного и мифо-символического компонентов в картине прошлого; 4) презентизм (акцентирование настоящего как наиболее значимого модуса времени при уважительном отношении к прошлому); 5) локальность (ориентированность на национальный компонент – чеченскую культуру, историю, обычаи, героев прошлого и настоящего и пр.); 6) доминирование военно-религиозного мемориального контента; 7) позиционирование исторического прошлого, национальной памяти как эффективного инструмента идейно-ценностной, ментальной адаптации к новым условиям жизни, ресурса формирования национальной идентичности.

7. Неофициальный («социальный», «низовой») уровень мемориальной культуры реализуется, прежде всего, в пространстве лично-семейных мемориальных представлений и форм мемориальной активности. Этот уровень представляет собой социальную проекцию официальных мемориальных усилий, сферу приложения политики памяти. На основе апробации авторской методики культурологической диагностики современной мемориальной культуры Чеченской Республики были выделены, во-первых, базовые элементы низового уровня мемориальной культуры (когнитивный – мемориальные представления и деятельностный – формы мемориальной активности), во-вторых, их специфические черты.

Когнитивный элемент мемориальной культуры (общие представления о прошлом, его персонифицированное и топографическое измерения) отличается: 1) высоким аксиологическим статусом прошлого как ресурса

построения позитивного и эффективного настоящего и будущего, темпоральной гармонизации и противостояния негативным последствиям глобализации; 2) восприятием прошлого как единства двух начал – рационально-фактического (прошлое как история) и социокультурного (прошлое как символическое пространство); 3) доминированием военного, религиозного и политического паттернов при определении значимых исторических персоналий и мемориальных объектов; 4) преобладанием локального (этнического) компонента в персональной и топографической идентификации прошлого; 5) наличием устойчивых «героических» и топографических доминант (общее единодушие в выборе значимых для мемориализации личностей и мест); 6) значимостью социально-коллективного компонента (значимые исторические личности воспринимаются таковыми из-за их служения чеченскому народу, знаковые мемориальные места выделяются, исходя из их потенциала к коллективной мемориализации).

8. Деятельностный элемент современной чеченской мемориальной культуры представлен двумя типами мемориальной активности: личной и семейной. Под личной мемориальной активностью понимаются различные по форме, мотивации, интенсивности, характеру инициативности варианты персональной включенности человека в мемориальную деятельность (как в официальные коммеморации, так и в приватные практики поминовения). Ее отличают: востребованность (высокий уровень вовлеченности респондентов, их заинтересованности в такого рода деятельности); универсальность (солидарность респондентов в выборе форм взаимодействия с прошлым); доминирование объектов приватной мемориализации (могилы близких, семейные реликвии и пр.); интегрированность в повседневный жизненный уклад; мортальность (преобладание форм мемориализации, связанных со смертью); консервативность (резистентность к современным, виртуально-сетевым формам мемориализации).

К особенностям семейной мемориальной активности (инициации различных видов мемориальной деятельности и/или участие в них членов семейного коллектива) относятся: 1) высокий уровень востребованности и вовлеченности респондентов; 2) семейно-созидательный и семейно-образующий статус (совместная мемориальная деятельность – посещение кладбищ, совместные молитвы, работа с семейным архивом и пр. – воспринимается современными чеченцами в качестве фундирующего основания существования семьи); 3) интериорный, самозамкнутый характер (ориентация на мемориализацию самой семьи, а не внешних исторических событий или личностей); 4) традиционность и консервативность (преобладание традиционных, проверенных временем форм мемориальной активности, ее связь с базовыми ценностными, религиозными представлениями); 5) гармоничное единство религиозно-ритуального и информационно-познавательного компонентов (пропорциональная представленность мемориальной активности, связанной, как с религиозными поминальными практиками, так и с получением информации о прошлом); 6) доминирование устных форм семейно-мемориальной коммуникации (общение со старшими членами семьи, чтение и обсуждение исторических книг).

9. На основании обобщения теоретического материала и результатов эмпирического исследования были сформулированы особенности современной мемориальной культуры Чеченской Республики:

1) традиционность и консервативность, то есть ориентация на те формы взаимодействия с прошлым, которые можно назвать органичными в отношении национальной культуры, укорененными в образе жизни, актуализируемыми в повседневном укладе;

2) доминирование двух четко проявленных смысловых векторов – милитаристского и религиозного;

3) консолидированность (общая согласованность позиций различных акторов относительно базовых оценок прошлого и форм взаимодействия с ним);

4) локальное центрирование (ориентация всех элементов мемориальной культуры на национальную историю и современность, традиции, бытовой уклад, выдающихся личностей, на сохранение памяти о них и их актуализацию);

5) приватность и ограниченная социальность (низкая популярность официальных коммемораций на фоне высокой востребованности семейных практик поминовения, скептическое отношение к внешним, демонстративным проявлениям мемориальной деятельности, ориентированность на приватность и даже интимность взаимодействия с прошлым в границах узких групп и пр.);

6) эффективность (высокая степень разделяемости официального мемориального нарратива и высокий уровень социальной мемориальной солидарности, то есть отсутствие конфликтности в оценке респондентами значимых мемориальных явлений, объектов, процессов; отсутствия выраженных контркультурных позиций).

Степень достоверности и апробация результатов работы, изложение ее основных положений осуществлено в 53 публикациях общим объемом 50,8 печатных листа (19 из них в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК при Минобрнауки России).

Результаты исследования прошли обсуждение на научно-практических конференциях различного уровня:

– **всероссийских:** «Диалоги о культуре и искусстве» (Пермь, 2021 г.); «Культурное наследие – от прошлого к будущему» (Санкт-Петербург; Москва, 2021г.); «X Лазаревские чтения: Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве: игровой универсум традиций» (Челябинск, 2022г.); «Межотраслевые исследования как основа междисциплинарности науки» (Санкт-Петербург, 2022г.); «Межотраслевые

исследования как основа междисциплинарности науки» (Санкт-Петербург, 2022г.); «Диалоги о культуре и искусстве» (Пермь, 2022); «Медиация: актуальность, современность, инновационность» (Липецк, 2023г.); «Художественная культура и трансформация индустриального менталитета в условиях моногорода» (Магнитогорск, 2023г.); «Культурные инициативы» (Челябинск, 2023г.);

– **международных:** «Молодежь в науке и культуре XXI века» (Челябинск, 2021 г.); «Международный культурологический форум» (Петрозаводск, 2021 г.); «MEDIAОбразование: цифровая среда в условиях вынужденной метаморфозы» (Челябинск, 2021г.); «Электронное информационное пространство для науки, образования, культуры» (Орел, 2021г.); «Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы современной науки» (Новосибирск, 2021 г.); «Визуальные медиакommunikации и реклама: новые технологии и методология исследований» (Челябинск, 2022 г.); «Евразия-2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации» (Челябинск, 2022 г.); «58-е Евсевьевские чтения» (Саранск, 2022 г.); «Карбышевские чтения. Наука на службе обществу» (Тюмень, 2022 г.); «Научно-инновационные исследования и разработки» (Саратов, 2022 г.); «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» (Геленджик-Москва, 2022 г.); «Родина: земля, народ, традиции» (Киров, 2022 г.); «Научно-инновационные исследования и разработки» (Саратов, 2022 г.); «Культура, наука, образование: проблемы и перспективы» (Нижневартовск, 2022 г.); «Молодежь в науке и культуре XXI века» (Челябинск, 2022 г.); «Фундаментальные и прикладные исследования в науке и образовании» (Санкт-Петербург, 2023 г.); «Динамика гуманитарных и социально-экономических наук в условиях цифровой трансформации» (Белгород, 2023 г.).

Достоверность результатов подтверждается их использованием в практической деятельности соискателя: в разработке Единой Концепции

духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики, утвержденной указом Главы Чеченской Республики от 5 октября 2021 г. № 177; в разработке и реализации культурно-просветительских проектов совместно с Министерством культуры Чеченской Республики, направленных на формирование национальной идентичности и сохранение традиционной чеченской культуры; в разработке и многолетней реализации образовательно-просветительского проекта для обучающихся общеобразовательных организаций «Память поколений» (совместно с Министерством образования и науки Чеченской Республики); в разработке и чтении авторского курса для аспирантов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», обучающихся по направлению подготовки 5.10. Искусствоведение и культурология, профиль подготовки 5.10.1. Теория и история культуры, искусства, «Этнокультура и современность».

Отдельные аспекты диссертационной работы были апробированы при организации и проведении прикладных социокультурных исследований: «Наследие прошлого сквозь призму восприятия молодежи», «Духовные запросы в условиях этнокультуры».

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (312 наименований) и приложений. Содержание работы изложено на 284 страницах.

Глава I. Теоретико-методологические основания изучения мемориальной культуры

1.1. Мемориальная культура в контексте актуальных гуманитарных исследовательских трендов¹

«Все говорит о том, что вокруг понятий памяти и воспоминания выстраивается новая парадигма наук о культуре» [20, с. 11]. Эта цитата Я. Ассмана объемно и точно характеризует ситуацию, которая сложилась в современной гуманитаристике, испытывающей мощнейшее влияние мемориальной тематики, как на идейно-содержательном, так и на структурно-институциональном уровнях.

А. Ассман, супруга Я. Ассмана и его коллега по научному цеху, такого рода парадигмальный сдвиг назвала «мемориальным поворотом», т. е. принципиальным пересмотром содержания мемориальных исследований: «Данный поворот обусловил значимую смену перспективы в Западной Европе: произошел сдвиг от героев и творцов истории к безымянным жертвам, чьи судьбы были впервые рассказаны и услышаны во всем многообразии их голосов. Главным ориентиром стали теперь права человека; с этим связано признание страданий гражданских жертв государственного насилия и расизма, сочувствие к этим жертвам. Поворот ознаменовался также отказом от снисходительности к преступникам и вниманием к страданиям (не только еврейских) жертв» [17, с. 59-60].

Конкретным итогом обозначенного мемориального поворота стало оформление всего многообразия мемориальной проблематики в отдельную научную область – *memorystudies*. На сегодняшний день в сфере

¹ В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографии автора: Актуальные мемориальные исследования: ключевые тренды и перспективы развития. С. 23-29; Современная мемориальная культура Чеченской Республики (теоретико-методологические и прикладные аспекты изучения). С. 27-57; Мемориальная культура: от категории к феномену. С. 32-39; Мемориальная культура в зеркале гуманитаристики: актуальные исследовательские тренды. С. 15-21; Стратегии актуализации прошлого: от культуры памяти к мемориальной культуре. С. 62-66.

мемориальных исследований можно выделить целый ряд значимых трендов, определяющих актуальное положение дел не только в мемориалистике, но и в гуманитарном знании в целом.

1. Институционализация: формирование организационно-структурной поддержки мемориальных исследований в формате институтов, центров, научных школ, специализированных научных конференций, тематических журналов и т.п.

В 20–30-е гг. прошлого века, на заре зарождения мемориалистики как одного из многих и далеко не центрального направления исторических исследований, интерес к проблемам памяти инициировался и поддерживался исключительно познавательной волей отдельных ученых (А. Варбург, М. Хальбвакс, В. Беньямин, Ф. Бартлетт и др.). Сегодня же функционирует разветвленная система институционального обеспечения мемориальных исследований, создающая условия для их проведения и публичной презентации результатов: Центр изучения культурной памяти и символической политики (Россия), Европейская исследовательская ассоциация «Память» (Голландия, Бельгия, Испания, Франция), Ассоциация европейских исследователей памяти, – вот далеко не полный перечень институций, так или иначе связанных с мемориальной тематикой и обеспечивающих ее популяризацию и продвижение.

Среди научных тематических журналов (*HistoryandMemory*, *Memory*, *MemoryandIdentity* и др.) наиболее авторитетным, во многом задающим исследовательские тренды в сфере мемориалистики является журнал *MemoryStudies*. По заявлению редакторов, опубликованному в самом первом номере в 2008 г., «само название журнала – это заявление о намерении обеспечить признание, форму и направление работы в этой зарождающейся области, а также способствовать созданию условий для критического диалога и дебатов по теоретическим, эмпирическим и методологическим вопросам, имеющим центральное значение для совместного понимания памяти в наши дни» [69, с. 5].

Дж. Олик, в целом достаточно скептически относящийся к позиционированию *memorystudies* в качестве отдельного научного направления, полагает, что они до сих пор недостаточно институционально закреплены, а исследователи, занимающиеся мемориальной проблематикой, по-прежнему не могут «отважиться» просить декана факультета об отдельной программе или «набраться наглости» на факультет исследований памяти» [6, с. 250].

2. Увеличение числа мемориальных исследований.

По мнению целого ряда исследователей (Дж. Олика, Б. Зелизер, А. Вейфер и др.), столь стремительный рост внимания к мемориальной тематике имеет как позитивные, так и негативные аспекты. К первым можно отнести, с одной стороны, более глубокое погружение в осмысление концепта культурной (надындивидуальной) памяти и смежных с ней категорий, с другой – расширение исследовательского поля за счет включения в него новых явлений и процессов. Негативные же аспекты связаны прежде всего с отсутствием хотя бы относительного концептуального и терминологического консенсуса, которого чрезвычайно сложно добиться в столь тематически и методологически разнообразной области.

3. *Диверсификация предметной области: «экспансия» исследований памяти в смежные области гуманитарного знания, корреляция разнообразных социокультурных феноменов с мемориальным компонентом.*

Если в 20-е гг. XX столетия, когда благодаря усилиям М. Хальбвакса и его коллег мемориальные исследования только зарождались, их содержание было непосредственным образом связано с проблемой надындивидуальной памяти (достаточно посмотреть названия работ классиков мемориалистики) и ее социокультурной и исторической детерминированности. По мере темпорального продвижения к современности и столкновения с различными вызовами новейшей истории *memorystudies* существенно расширили свои межпредметные связи. Сегодня, если судить по публикациям в научных

тематических журналах, практически не осталось ни одной гуманитарной науки, ни одной сферы, свободных от пристального внимания исследователей памяти. Повседневность, искусство, политика, миграционные волны, глобализация, дискриминация, гендерные деформации, идентичность, культурные травмы, медиатизация – эти и многие другие области актуальной реальности, генетически не связанные с мемориалистикой, сегодня выступают в качестве плодородной почвы для изучения коллективных воспоминаний.

Согласно позиции, обозначенной редакторским коллективом журнала *MemoryStudies*, открытое, аргументированное, целенаправленное обращение к концептуальному арсеналу различных дисциплин (от нейробиологии до теории повествования, от математики развития до кросс-культурных исследований) может стать движущей силой эффективного развития мемориальных исследований [281, с. 6].

4. *Рост тематического разнообразия*: рост разнообразия тематической повестки *memorystudies*, включение в поле зрения мемориальных исследований новых явлений и процессов, ранее находившихся за пределами интересов мемориалистики. Этот тренд, безусловно, теснейшим образом связан с предыдущим и детерминирован усилением ее междисциплинарного статуса.

Сегодня, по мнению Б. Зелизер, *memorystudies* включают в себя «все мысли, чувства и действия по поводу прошлого, которые не изучает традиционная история» [312, с. 222].

К наиболее востребованным тематическим областям мемориальных исследований относятся [69, с. 141]:

1) *memory-идентичность* – переплетение проблематики памяти и конструируемой на ее основе идентичности (национальной, гендерной, сексуальной) носителей данных воспоминаний;

2) *официальная риторика памяти* – стратегии (презентации, избегания, фиксации, охранения), используемые в государственной политике памяти;

публичные практики институционализации знаковых политических событий в истории страны;

3) *автобиографическая память* – персонифицированный дискурс семейной памяти или описаний событий через уникальный «личный архив» конкретных субъектов;

4) *медиатизация памяти* – осмысление цифровых технологий, обоснование роли социальных сетей и СМИ как средств фиксации воспоминаний; жанровое многообразие воплощений памяти в медиаконтенте;

5) *топография памяти* – исследования мест памяти (мест поминовений) и артефактов как основы хранения «жизни события», их последующая мемориализация;

6) *травма прошлого* – акцентировка внимания на дискурсе войны/военного конфликта, памяти о насилии, диктатуре и геноциде народов/сообществ;

7) *арт-вариации памяти* – художественные практики и воплощения образов прошлого в искусстве;

8) *научный memory-дискурс* – осмысление перспектив развития *memorystudies* как отдельного направления и поля академических исследований, расширение междисциплинарных границ в изучении памяти.

А. Ассман указывает на то, что расширение тематических горизонтов *memorystudies* происходит не только экстенсивным (за счет включения существующих процессов и явлений), но и интенсивным путем (за счет появления совершенно новых мемориальных практик). В качестве примера последнего она приводит так называемые самокритичные коммеморации, понимаемые как практики поминовения, которые (в отличие от традиционных коммемораций, ориентированных главным образом на мемориализацию героев войны) направлены на увековечивание памяти о жертвах внутригосударственных преступлений, ответственность за которые

берет на себя ныне функционирующее государство и общество в целом [17, с. 7].

По мнению А. Ассман, появление нового ракурса мемориальной рефлексии в формате самокритичных коммемораций стало одной из причин структурных сдвигов в сфере *memorystudies*, существенным образом поменявших ценностный ландшафт современных мемориальных исследований.

5. *Расширение географических границ*: включение в сферу мемориальных исследований новых территориальных агентов. Если география «традиционных» *memorystudies* (50–80-е гг. прошлого века) была ограничена главным образом Европой, то сегодня она получила импульс к существенному расширению. Особый интерес исследователей памяти вызывают «специфические» регионы – государства, области или отдельные города, в которых имеют место резкие конфликтные противостояния различных групп (этнических, религиозных, политических, финансовых и т. п.), травмо-драматичные события недавнего прошлого (геноцид, апартеид, террористические акты и т. п.) или просто редко попадающие в поле зрения европейских и американских гуманитариев. Если судить по названиям статей в журнале *MemoryStudies*, к таким «новым» регионам относятся Бразилия, Северная Ирландия, Аргентина, Руанда, Перу, Камбоджа, Косово и мн. др.

6. *Методологический плюрализм*: обращение к методологическому арсеналу различных гуманитарных наук, поиск собственных методолого-инструментальных ресурсов.

Методологические основания мемориальных исследований являются, пожалуй, одним из наиболее острых и дискуссионных вопросов главным образом в силу неопределенности статуса *memorystudies* (междисциплинарность, трансдисциплинарность, полидисциплинарность, мультидисциплинарность и пр.). В первом номере журнала *MemoryStudies* редакторский коллектив призывает предельно аккуратно относиться к использованию концептуальных наработок одной науки в рамках предметной

области другой [281, с. 6]. Однако, как показывает анализ современных мемориальных работ, этот призыв не оказал существенного влияния на реальные исследовательские процессы. Это связано прежде всего с неопределенностью самого предмета *memorystudies* и отсутствием конвенционального понимания сути того, что разные ученые называют коллективной, социальной, исторической или культурной памятью. Э. Тулвинг, канадский нейрофизиолог, занимающийся изучением памяти, собрал все имеющиеся на 2007 г. определения надындивидуальной памяти, выработанные историками, антропологами, музеоведами и пр. – их оказалось более 250 [304].

В силу этого обращение к методологическим ресурсам различных гуманитарных и иных наук – не столько добровольный выбор исследователей, сколько необходимость, продиктованная отсутствием у мемориалистики собственной методологии.

Некоторые ученые, как, например, М. Штюкен, полагают, что ситуация методологической неопределенности – это очевидное преимущество мемориальных исследований, в которых «нет места для полицейского контроля дисциплин» [Цит. по: 281, с. 6]. Однако в последнее время все громче звучат голоса тех, кто придерживается противоположной позиции. Так, Дж. Олик, Дж. Роббинс в работе «Социальные исследования памяти: от “коллективной памяти” к исторической социологии мнемоники» обвинили *memorystudies* в непарадигматичности, междисциплинарности и бесцентричности (в смысле отсутствия четко разработанного базового понятия) [293, с. 109]. С. Рэдстон назвала методологию мемориальных исследований «страной путешествующих концепций» [Цит. по: 281, с. 6].

7. *Демократизация познания памяти*: расширение состава познающих субъектов, упрощение как процесса доступа к информации, так и ее интерпретации.

Изучение памяти довольно часто рассматривается как область широкого доступа (и на содержательном, и на методологическом уровнях),

открытая как для профессиональных исследователей, так и для любителей, пишущих мемуары или составляющих генеалогическое древо семьи. Это, с одной стороны, чревато тем, что С. Крейн назвала борьбой с тоталитарностью истории, т. е. ростом открытости мемориальных исследований благодаря упрощению познавательных, верификационных, интерпретационных процедур, получением доступа к огромному массиву тематической информации, интеграцией в поле мемориальных работ новых явлений и процессов. А с другой стороны – снижением качества мемориальных исследований и еще большим размыванием их предметной области.

К обозначенным выше масштабным трендам можно добавить и те, которые либо только начинают формироваться, либо не носят системного характера. Например, ивентизация мемориальных исследований (усиление интереса к проблеме памяти об отдельном событии – эпицентре социокультурных трансформаций) или интенсификация использования компаративного подхода в изучении памяти.

Но очевидным является тот факт, что *memorystudies* до сих пор находятся в состоянии предметной, содержательной, методологической децентричности, одновременно и в ситуации поиска собственного лица, и в процессе «междисциплинарного шпионажа», необходимого для того, чтобы изучать «сновидения, жесты, эмоции, цветное зрение, джаз, сады, спорт, диаграммы, ткань или боевые искусства» [293, с. 299].

К этому списку явлений, попадающих в ареал внимания *memorystudies*, можно добавить и менее специфичный феномен *мемориальной культуры*, который как будто бы должен выполнять роль концептуального мейнстрима мемориальных исследований, объединять разнообразные мемориальные явления в некое общее феноменологическое пространство. Однако в реальности мемориальная культура оказывается востребованной лишь на категориальном уровне, оставаясь достаточно слабо разработанной на уровне теории.

Само понятие «мемориальная культура» было введено А. Ассман в современный гуманитарный дискурс в качестве терминологической основы ее мемориальной концепции (работы «Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика» [16] и «Новое недовольство мемориальной культурой» [17]).

А. Ассман не дала четкого определения данного понятия, обозначая лишь некоторые его черты:

- мемориальная культура противопоставлена профессиональной истории и основывается на значительно более демократичных (часто не подразумевающих строгую процедуру верификации) способах познания прошлого;

- мемориальная культура всегда отражает интересы определенной социальной группы;

- мемориальная культура имеет этическую природу – ее риторика неизбежно связана с категориями добра, зла, жертвы, преступления, вины и пр.

В целом повествовательный контекст позволяет понять, что А. Ассман понимает под мемориальной культурой «новую культуру отношения к прошлому (“освоения прошлого”), сложившуюся на рубеже XX–XXI вв. и связанную с глубинной сменой ценностей современного мира» [105, с. 32].

Ядром мемориальной культуры в концепции А. Ассман является так называемый *темпоральный режим культуры*, т. е. «комплекс культурных постулатов, ценностей и установок, которые, даже не осознаваясь самим индивидуумом, управляют его желаниями, поступками, чувствами и представлениями» [18, с. 15]. Темпоральный режим культуры – это идеологическое основание мемориальной культуры, система нравственных императивов, которые транслируются в процессе мемориальной деятельности, совокупность конвенциональных соглашений общества в целом и его отдельных групп относительно интерпретации прошлого.

Понятие темпорального режима культуры близко по своему сущностному наполнению тому, что Ф. Артог называл режимом историчности («в узком смысле – способ, с помощью которого общество трактует свое прошлое и рассуждает о нем; в широком смысле – режим историчности служит для обозначения модальности авторефлексии человеческого сообщества» [14]), а Й. Рюзен – историческим нарративом (образ прошлого, целостная картина минувшего, интегрирующая как научные, так и мифо-символические представления) [170].

М. Бернхард и Я. Кубик оперируют понятием «режим памяти», которое по своей сути дублирует и понятие «темпоральный режим культуры», и понятия «режим историчности» и «исторический нарратив». Смысл режима памяти сводится к результату взаимодействия мнемонических акторов, транслирующих различные способы интерпретации прошлого и действующих в условиях различных структурных (политический режим, социальная конъюнктура и пр.) и культурных (специфика национальной идентичности, содержание культурной памяти) ограничений, а также культурных стратегий (исторически сложившихся традиций интерпретации прошлого) [265, с. 12].

И. Зарецка, изучая мемориальную культуру, концентрирует свое внимание на вопросах ее фреймирования, а точнее – специфики публичного мемориального нарратива, репрезентуемого исторической литературой, документальными фильмами о прошлом, мемориальными исследованиями и пр. [282]. Опираясь на методологию М. Хальбвакса (понятие социальных рамок памяти) и И. Гофмана (понятие фрейма), она изучает саму логику функционирования мемориальной культуры, трансляции неких устойчивых фреймов от их источника (политический лидер, историк, журналист и др.) к отдельному человеку, механизмы формирования коллективных представлений о прошлом в зависимости от различных обстоятельств, контекстов, субъектов и аудитории потребителей [282, с. 5–6].

А. Парр, австралийский культурный критик и философ, автор знаменитой монографии «Делез и мемориальная культура» (Deleuze and Memorial Culture) [294], интерпретировала мемориальную культуру сквозь призму травматического мемориального опыта, переживаемого обществом. По ее мнению, генезис любой мемориальной культуры связан с имманентным желанием людей хранить наиболее драматичные воспоминания, консолидирующие и усиливающие их. Мемориальная культура, согласно ее мнению, – это то, каким образом культура участвует в формировании, организации и размещении коллективной памяти в пространстве и времени [294, с. 15].

А. Парр выделяет две формы бытования мемориальной культуры:

1) практическую – набор конкретных мемориальных действий (в зависимости от культуры или от мемориального события они могут существенно различаться);

2) онтологическую – набор вопросов, ответы на которые дают различные практики поминовения, например, что такое нравственное варварство и как на него реагировать.

А. Парр приходит к выводу о том, что мемориальная культура – это утопическое мышление памяти: она окультуривает травматические воспоминания, наполняет их ценностным содержанием, смыслом, логикой, нивелирует те из них, которые не поддаются такого рода осознанной аксиологизации, привлекает к работе с ними членов той или иной социальной группы, превращая их в сопричастных воспоминаниям «мемориальных агентов».

Мемориальная культура, в ее интерпретации, содержит два взаимообуславливающих и одинаково важных компонента – идеалистический и реалистический. Идеалистический компонент отсылает собственно к контенту («социальное концептуальное поле») памяти – иллюзорному, образному, символическому, а реалистический – к формам ее объективации.

Важным в концепции А. Парр является также и то, что она понимает мемориальную культуру прежде всего как социальную деятельность, как культурное производство, которое «организует энергию, аффекты и силы памяти» [294, с. 3].

Сербский социолог Т. Кулич выделяет два смысловых уровня понятия «мемориальная культура»:

1) мемориальная культура как инструмент социального контроля (в таком ракурсе она представляет собой систему «моделей наследования, передачи, запланированного или спонтанного забывания или подавления памяти в соответствии с интересами определенных социальных групп; в рамках идеологического использования прошлого мы говорим о “политизации памяти”» [цит. по: 306, с. 57]);

2) мемориальная культура как инструмент социальной солидаризации (понимаемая таким образом мемориальная культура предстает источником общих коллективных воспоминаний, идентификационной платформой, поводом для социальной интеграции и дистанцирования группы от сообществ с иной картиной прошлого).

В зарубежных *memory studies*, помимо работ, рассматривающих мемориальную культуру в широкой теоретической перспективе, есть целая группа исследований, изучающих ее сквозь призму локальных аспектов.

Так, например, М. Аллен изучает мемориальную культуру в контексте капиталистических отношений, экономической конъюнктуры и культуры потребления (*The labour of memory: memorial culture and 7/7* [260]). Как и А. Парр, он определяет мемориальную культуру через категорию деятельности – деятельности по пропаганде товарного фетишизма. Только, в отличие от иных типов капиталистического потребления, потребление материальное «фетишизирует метафизические тонкости и теологические нюансы повседневного объекта, освященного в товарной форме, что, в свою очередь, отвлекает от основных отношений, поддерживающих производство и обмен» [260, с. 26]. При таком рассмотрении память не действует в

исключительной сфере сакрального, но сакральное производится через отношения обмена, а мемориальная культура формируется путем создания, перемещения и поддержания вещей.

В работе турецкого историка Г. Бозоглу «Музеи, эмоция, мемориальная культура» [267] феномен мемориальной культуры инкорпорирован в музейную среду и рассматривается сквозь призму взаимодействия музейного мемориального контента и его восприятия посетителями музея. Не давая четкого определения понятия «мемориальная культура», исследователь понимает ее как сложную систему каналов трансляции знаний о прошлом (одним из которых являются музеи) и их аффективного восприятия, оценки, ретрансляции, интерпретации. Культура памяти в таком фокусе предстает установленными практиками и эталонами «потребления» мемориального контента, референтного той или иной культуре.

Исследовательская задача Г. Бозоглу, по ее словам, заключалась в том, чтобы уловить, понять, описать аффективную атмосферу музеев, зафиксировать «моменты встречи между посетителями и экспозициями, а также то, что происходит дальше... как коллективное поведение порождает преобладающее настроение. Это также было связано с необходимостью слушать: сколько шума производили посетители, как громко они говорили, насколько интенсивны восклицания, преобладает тишина или какофонии» [267, с. 63].

Датские ученые Д. Рефсланд Кристенсен и С. Готвед сфокусировали свое внимание на смертельном аспекте мемориальной культуры, осмысляя ее сквозь призму актуальных практик личного поминовения в онлайн-среде. Под мемориальной культурой, как следует из контекста их работы, авторы понимают совокупность различных форм частной мемориальной деятельности, отличающихся в зависимости от субъекта (родители, дети, медийные личности и др.), и типа смерти (естественная, насильственная) и порождающих различные типы скорби (публичное раскаяние, трансляция опыта и пр.) [295, с. 2].

Т. Вальтер также анализирует мемориальную культуру на примерах различных кейсов виртуального переживания смерти. Мемориальная культура в его логике выступает совокупностью четырех типов траура (семейный/общинный, частный, общественный и виртуальный) и четырех типов эмоциональных реакций, соответствующих каждому типу траура: *тяжелая утрата* относится к объективному состоянию потери кого-либо, *горе* – к эмоциям, сопровождающим тяжелую утрату, *скорбь* – к тому, кто потерял, а *собственно траур* – к поведению, осуществляемому скорбящими или ожидаемому от них [309].

Главными субъектами траура («основными кандидатами для публичного оплакивания») являются либо фигуры с высоким статусом (например, знаменитости), либо обычные люди, умершие при особо трагических обстоятельствах (например, жертвы катастроф или убитые дети).

Специфическими чертами онлайн-траура, по мысли Т. Вальтера, следует признать «легкость, с которой люди могут генерировать свой собственный онлайн-контент в социальных сетях, и повсеместное распространение, которое обеспечивают современные мобильные технологии, – две особенности современной мемориальной культуры в Интернете, которые порождают новые социальные отношения между скорбящими, между скорбящими и другими, а также между скорбящими и умершими» [309, с. 32].

Историческая эволюция мемориальной культуры в эпоху Средневековья и Возрождения стала предметом коллективной монографии «Культурная история памяти в эпоху раннего Нового времени». А. Аркангели и М. Тамм, одни из ее авторов, трактуют мемориальную культуру как «способы, которыми память “прилипала” к местам и вещам» [262, с. 11]. Исследователи фактически сводят мемориальную культуру к материальным носителям памяти, которые, по их мнению, играли решающую роль в

трансляции знаний о прошлом, сохранении частной и публичной памяти, поддержании религиозной идентичности и пр.

Одну из форм репрезентации современной мемориальной культуры рассматривала Х. Эверетт в работе «Придорожные кресты в современной мемориальной культуре» [276, с. 45]. Мемориальная культура для нее, судя из контекста работы, сводится к разнообразию способов и инструментов материализации представлений о прошлом носителями определенной культуры («мемориального поколения»). На примере придорожных крестов Х. Эверетт показывает, что процесс мемориальной материализации разбивается на несколько фаз: появление повода мемориализации (катастрофа), его осознание с учетом социокультурного контекста (интерпретация катастрофы как трагедии, нуждающейся в мемориализации), выбор способа материализации (придорожный крест), создание мемориального объекта (индивидуальный дизайн креста), обеспечение процесса постмемориализации («мемориальное обслуживание объекта» – приношение цветов, фотографий, зажигание свечей и пр.).

Аналогичный исследовательский ракурс (и содержательный, и отчасти методологический) выбрали А. Юдкина и А. Соколова, изучая феномен спонтанной мемориализации жертв автокатастроф в Центральной России в работе «Придорожные мемориалы в современной России: народные истоки и глобальные тенденции» [311]. Однако, в отличие от Х. Эверетт, распространявшей границы понятия «мемориальная культура» на восприятие прошлого в целом, российские исследователи ограничивают его представлениями о смерти, точнее «верованиями в загробную жизнь» [311, с. 35].

Несмотря на очевидный интерес, который представляет исследование А. Юдкиной и А. Соколовой, в современной российской мемориалистике термин «мемориальная культура» ассоциируется прежде всего все-таки с именем А. В. Святославского и его работой «История России в зеркале памяти». По мысли ученого, «в основе формирования культуры памяти

лежит двунаправленный коммуникационный процесс, в котором культура настоящего передает свой образ в будущее, и в то же время принимает и стремится адекватно декодировать информацию из прошлого. Последнее реализуется как на сознательном уровне – стремление извлечь практически ценный опыт, так и на подсознательном, получающем выражение в своего рода любопытстве, влекущем путешественника во времени в неведомое прошлое» [176, с. 5].

Мемориальная культура в концепции А. В. Святославского воплощается в двух типах деятельности:

- 1) коммеморативной (намеренное увековечивание значимых личностей, событий, мест и пр.);
- 2) реконструктивной (воссоздание полностью или фрагментарно утраченных, но значимых в настоящем объектов, событий, мест и пр.).

Главной задачей мемориальной культуры, как полагает А. В. Святославский, является генерирование образа прошлого в пространстве актуальности с целью его последующей локализации в будущем.

Исследователь определяет мемориальную культуру как культуру намеренных коммемораций, трактуемую им как «культуру увековечения, в основе которой лежит социокультурная деятельность, связанная с формированием такого явления, как памятник. В ходе такой деятельности происходит обращение к образам как прошлой, так и современной действительности, которые обрамляются, пользуясь понятием Хальбвакса, в “рамки памяти” особенностями порождающего памятник конкретного культурного дискурса» [176, с. 91].

Истоки мемориальной культуры, по мнению А. В. Святославского, связаны с ветхозаветными временами, описанными в Книге Бытия, и с религиозными представлениями и культами.

Е. В. Сазонникова, рассматривая мемориальную культуру в конституционно-правовом аспекте, понимает под ней «совокупность

общественных достижений в области увековечения памяти» [175, с. 33]. Структурно мемориальная культура, по мнению исследователя, включает в себя следующие компоненты:

- официальные мемориальные документы, публичные выступления;
- художественные произведения;
- церемонии и ритуалы мемориальной направленности;
- праздники и дни траура;
- награды и премии;
- присвоение имен великих людей улицам, площадям, городам и пр.;
- места захоронений.

С точки зрения государства и различных государственных институций мемориальная культура представляет собой «результат целенаправленной деятельности в интересах формирования определенного представления о событиях и личностях в сознании государственно-организованной общности людей» [175, с. 34]. В этом контексте мемориальная культура является «поставщиком» средств, способов и результатов идеологического влияния государства на общество.

В целом анализ накопленного зарубежного и отечественного опыта изучения мемориальной культуры позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, понятие «мемориальная культура» является новым и в общем еще не вполне освоенным и разработанным современной гуманитаристикой с точки зрения точности понимания его сущности, структуры, функционала и пр. В научных текстах западных исследователей, которые на сегодняшний день составляют теоретическую основу изучения мемориальной культуры, чаще всего определение данного понятия отсутствует, а его смысл улавливается исключительно из повествовательного контекста. В российской мемориальной риторике определения мемориальной культуры хотя и предлагаются авторами (А. В. Святославский, Е. В. Сазонникова и др.), однако носят содержательно размытый характер и недостаточно очевидно фиксируют ее специфику как явления культуры.

В проанализированных нами источниках сущность мемориальной культуры связывается:

– с совокупностью разнообразных способов, инструментов, технологий, каналов формирования коллективной памяти и познания прошлого (А. Ассман, А. Парр, Г. Бозоглу, Е. В. Сазонникова);

– инструментами социального контроля (понимаемого предельно широко) и солидаризации (М. Аллен, Т. Кулич);

– набором частных и публичных форм поминальной деятельности и объективации траура и скорби (Д. Рефсланд Кристенсен, С. Готвед, Т. Вальтер, Х.Эверетт, А. Аркангели, М. Тамм, А. Юджина, А. Соколова);

– намеренными коммеморациями в форме памятников (А. В. Святославский).

Во-вторых, понятие мемориальной культуры нередко употребляется в одном синонимичном (или смыслородственном) ряду с понятиями культурной памяти, политики памяти, коммеморативных практик и пр.

Далее мы предельно кратко рассмотрим некоторые из данных понятий с тем, чтобы более четко выстроить собственное понимание мемориальной культуры.

1. Культура памяти

Этот термин встречается и в зарубежных, и в отечественных исследованиях памяти. Во-первых, он, как правило, используется в широком, почти метафорическом значении некоей социальной традиции, определяющей объем сохраняемых воспоминаний и воспоминаний, подлежащих забвению. Чаще всего (в работах А. Ассман, Й. Ганценмюллер, К. Шмид и др.) обращение к категории «культура памяти» происходит в контексте рассуждения о мемориальных государственных стратегиях мемориализации Холокоста и в целом – преступлений против человечества. Х. Вельцер к официально-государственному компоненту понятия «культура

памяти» добавляет приватный компонент, связанный с практиками семейных воспоминаний [48].

В российской исследовательской практике данный термин не столь востребован, как близкие ему по смыслу (политика памяти, историческая политика и пр.). В работах А. В. Святославского культура памяти определяется как родовое по отношению к мемориальной культуре понятие, охватывающее широкий круг мемориальных явлений, в том числе и феномен социального забвения. Культура памяти, по его мнению, включает в себя «как деятельность по увековечению современной мемориализатору культуры, так и реконструкцию прошлой (ушедшей) по отношению к современности культуры» [176, с. 9]. Такое понимание культуры памяти позволяет исследователю включать в нее все формы научного (исторического) освоения прошлого – охрану наследия, реставрационные работы, музейное дело и пр.

М. Л. Шуб под культурой памяти понимает «целенаправленную деятельность, совокупность мемориальных стратегий сохранения, поддержания, трансляции памяти, реализуемых как в институционально инициированном (официальные коммеморативные практики, деятельность СМИ), так и в спонтанно-инициативном (стихийная коммеморация, частные мемориальные инициативы) форматах [220, с. 57]. В ее научной логике культура памяти реализуется в рамках двух направлений: медийно-презентационном (презентация мемориальной проблематики в средствах массовой информации, социальных сетях и иных медиа) и событийно-проектном (организация различных коммеморативных мероприятий – от Парада Победы до присвоения мемориальных наименований улицам).

2. Мемориальная политика

М. Б. Гуров [60], Д. Н. Нечаев и О. В. Леонова [132], Н. А. Медушевский [123], О. Ч. Реут [158] и др. прибегают в научной риторике к термину «мемориальная политика». К сожалению, в работах указанных авторов четкое определение мемориальной политики или набор характерных

для нее черт отсутствует. Судя по контексту, мемориальная политика предстает либо системой шагов в сфере популяризации государственно одобренной картины прошлого путем открытия памятников (М. Б. Гуров, О. Ч. Реут), либо выступает в качестве синонима политики памяти (Д. Н. Нечаев, О. В. Леонова), либо определяется как инструмент «реализации общей государственной политики мягкой силы, реализуемой на внутривнутриполитическом пространстве» (Н. А. Медушевский) [123, с. 12].

3. Политика памяти

Этот термин чаще всего в современной, особенно российской, риторике используется в значении государственной политики в мемориальной сфере. Так, О. Ю. Малинова интерпретирует ее как «деятельность государства и других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование поддерживающей их культурной инфраструктуры, образовательной политики, а в некоторых случаях – и законодательного регулирования» [119, с. 9].

По определению О. Ф. Русаковой, политика памяти «представляет собой продуманную систему форм и способов политизации прошлого в целях управления коллективной исторической памятью народа» [168, с. 70].

А. И. Миллер под политикой памяти понимает «сферу публичных стратегий в отношении прошлого, т.е. концептуализации, практик коммеморации и преподавания истории» [126, с. 210].

В аналогичном смысловом ключе трактует политику памяти Р. Траба: «Политика памяти – это любые намеренные и формально легитимные действия политиков и чиновников, которые направлены на укрепление, удаление или преодоление отдельных фрагментов общественной памяти» [189].

4. Историческая политика

Термин «историческая политика», возникший в европейском политическом дискурсе в 80-е гг. прошлого столетия сначала в ФРГ, а спустя

пару десятилетий в Польше, использовался для обозначения определенного типа политики, эксплуатирующей образы прошлого [119, с. 9].

Политологи К. Леггеви и К. Майер понятием исторической политики охватывают околемемориальную проблематику (прежде всего вопросы принятия политических решений в сфере политики памяти), которая редко попадает в поле зрения ученых-мемориалистов: «Историко-политические инициативы... не исчерпываются инсценированием “символической политики” и мероприятиями в системе политического образования; сюда же относятся нормативные акты административного и законодательного характера, а также мобилизационные кампании, проводимые государством и организациями гражданского общества и выходящие на уровень внешней политики и политики в области национальной безопасности» [Цит. по: 16, с. 261]. А. Ассман к исторической политике относит также историческую экономику, т. е. все вопросы, связанные с финансированием мемориальной деятельности, выплатами жертвам, выделением земель под мемориалы и т. п.

А. И. Миллер и О. Ю. Малинова трактуют историческую политику как «особую конфигурацию методов, предполагающую использование государственных административных и финансовых ресурсов в сфере истории и политики памяти в интересах правящей элиты» [118, с. 15]. По словам А. И. Миллера, историческая политика, являющаяся частным проявлением политики памяти, характеризуется активным участием властных структур, конфронтационностью и преследованием партийных интересов [126, с. 215].

Методами исторической политики, позволяющими государству и иным мемориальным акторам осуществлять регулирование мемориально-интерпретационных процессов в обществе, по мысли А. В. Трофимова, являются: «создание специальных институтов, используемых для насаждения определенных трактовок прошлого, выгодных той или иной политической силе; политическое вмешательство в деятельность средств массовой информации; манипуляцию архивами; разработка и использование новых

мер контроля за деятельностью историков; политическое вмешательство в содержание учебников и программ преподавания» [190, с. 362].

Таким образом, смысл исторической политики охватывает целый комплекс форм обращения с прошлым – от его законодательно-правового освоения, экономического обеспечения его функционирования в пространстве современной культуры до использования его содержательного ресурса с целью укрепления позиций властных элит. Но в каком бы ключе данный термин ни трактовался исследователями, все они сходятся во мнении, что историческая политика является лишь одним из инструментов реализации мемориальной культуры.

Исключение составляет, пожалуй, лишь А. Ассман, которая мемориальную культуру отождествляет с независимой от государства, гражданской, «низовой» мемориальной деятельностью, а историческую политику – с директивной государственно инициируемой и контролируемой активностью в сфере интерпретации, сохранения и трансляции прошлого.

Политика прошлого, символическая политика, политическое использование прошлого, историческая политика, политика коммемораций, политика памяти, мемориальная политика – эти и многие другие термины характеризуют многообразие форм и способов осмысления, интерпретации, использования прошлого различными мемориальными акторами, прежде всего политическими элитами, или государством. Но они также характеризуют и особое состояние современных мемориальных исследований, в которых пока отсутствует какой бы то ни было консенсус в отношении использования базовых категорий. В итоге мы имеем дело либо с терминологической избыточностью (когда одни и те же явления называются по-разному разными учеными), либо с терминологическим замещением (когда один и тот же термин обозначает у разных авторов разные явления). На наш взгляд, такая ситуация не критична, но в значительной степени затрудняет построение ясной и согласованной теоретико-методологической концепции мемориальной культуры.

Кроме того, большинство проанализированных нами теоретико-методологические подходов апеллируют прежде всего к официальным усилиям в сфере «проработки прошлого», оставляя за пределами внимания частные формы мемориальной активности. Исключение, пожалуй, составляют лишь Д. Р. Кристенсен, С. Готвед, Т. Вальтер, Х. Эверетт, А. Юдкина, А. Соколова, О. Ч. Реут. «Мемориальная политика, – по словам О. Ч. Реута, – рассматривает общество как объект усилий по строительству нации исключительно “сверху”, со стороны якобы единственно возможного субъекта этого процесса – центральной власти. И хотя довольно трудно оспорить тезис, заключающийся в том, что решающую роль в данном процессе играют политические элиты, было бы неверным исключать из него граждан и роль их ассоциаций, активно претендующих на представительство своих интересов как в структурах власти, так и вне их с целью формирования открытого доступа к дискуссиям о манифестациях идентичности» [158, с. 166].

Однако и О. Ч. Реут, говоря о мемориальной политике, имеет в виду систему организованных форм интерпретации прошлого. Мы полагаем, что феномен мемориальной культуры стоит рассматривать еще шире, включая в него и частные, бытовые формы мемориальной деятельности, которые, на наш взгляд, с одной стороны, являются самостоятельным, чрезвычайно эвристичным и пока еще достаточно слабо изученным исследовательским предметом. С другой же стороны, частная мемориальная деятельность, в меньшей степени связанная с проблемами исторической концептуализации и в большей степени ориентированная на повседневные формы обращения к прошлому, – конечный пункт назначения государственных и общественных усилий в сфере политики памяти, которую можно считать эффективной лишь тогда, когда она выходит за пределы экспертных сообществ «в народ», становится частью убеждений «обычных людей», интегрируется в их мемориальные традиции и повседневные практики.

1.2. Сущностно-типологические и функциональные параметры мемориальной культуры²

В предыдущем параграфе мы рассмотрели основные тренды развития мемориальных исследований, а также подходы к осмыслению сущности мемориальной культуры. Главный вывод, к которому мы пришли, заключается в том, что феномен мемориальной культуры концептуализирован достаточно слабо и односторонне. Чаще всего он используется либо для обозначения отдельных актов публичной мемориализации, либо как синоним политики памяти. Таким образом, из содержательного объема понятия «мемориальная культура» выпадают менее репрезентивные, но от этого не менее важные частные мемориальные инициативы и практики приватной мемориальной деятельности. В этой связи хотелось бы привести цитату из работы А. Ассман «Новое недовольство мемориальной культурой», довольно длинную, но очень точно отражающую высказанную нами мысль: «...когда вся мемориальная культура сводится к официальному уровню, складывается впечатление, будто в мемориальной культуре мы имеем дело исключительно с “театрализованной коммеморацией”, которую государство инсценирует для своих граждан. <...> Понятие мемориальной культуры охватывает нечто гораздо большее, нежели государственные мемориалы и выступления государственных функционеров или публичных политиков; она опирается на живую активность гражданского общества, осуществляющуюся в виде бесчисленных исторических проектов, куда вовлечена и молодежь, которая таким образом соприкасается с немецкой историей в своем непосредственном окружении. Импульс для локальных инициатив рождается в конкретных населенных

²В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографии автора: Культурная память как понятие и явление: основания концептуализации. С. 11-20; Мемориальная культура как актуальный исследовательский тренд. С. 33-40; Современная мемориальная культура Чеченской Республики (теоретико-методологические и прикладные аспекты изучения). С. 57-89; Функциональный потенциал мемориальной культуры. С. 157-163; Политическая, культурная и коммуникативная память как ядро мемориальной культуры. С. 932-935; Мемориальные акторы: сущность и типологическое разнообразие. С. 108-110.

пунктах, жители которых слой за слоем открывают для себя свою историю» [17, с. 114–115].

Солидаризируясь с мнением А. Ассман, отметим, что на наш взгляд, феномен мемориальной культуры интегрирует значительно большее число самых разнообразных форм «обращения» с прошлым: официально-институциональные, инициированные государством, властными элитами, экспертными сообществами (то, что традиционно называется политикой памяти, или мемориальной политикой, и сводится к выработке конвенционального мемориального нарратива, способов и результатов интерпретации истории); неофициально-институциональные, генерирующие менее ангажированные, альтернативные или оппозиционные официальным мемориальные нарративы (посредством деятельности общественных организаций, реализации мемориальных проектов инициативными группами и пр.); неофициально-неинституциональные (те формы мемориальной активности, которые принято называть стихийными коммеморациями); частная мемориальная деятельность, включающая как обыденные представления о прошлом, так и повседневные формы мемориальной активности.

Однако, на наш взгляд, в объем понятия «мемориальная культура» включатся не все, хотя и значительное число форм мемориальной активности. Последние должны отвечать требованиям публичности (социальной визуализации, доступности для узнавания, включенности, исследования, оценки) и воспроизводимости (повторяемости во времени и пространстве: в этом смысле разовый мемориальный акт, не ставший пусть на ограниченное время и у локальной группы формой коллективной традиции, не относится к мемориальной культуре).

Таким образом, под *мемориальной культурой* будет пониматься система историко- и социально детерминированных, устойчивых, воспроизводимых способов познания, интерпретации, описания, сохранения,

трансляции прошлого, репрезентируемых в различных формах мемориальной деятельности.

Мемориальная культура – стратегия представления, объективации содержания надындивидуальной памяти того или иного общества, т. е. памяти, являющейся коллективной по источнику формирования и социальной по специфике распространения. Вслед за А. Ассман и с опорой на концепцию Я. Ассмана мы выделяем три типа надындивидуальной памяти: политическую, культурную и коммуникативную.

1. Политическая память

Политическая память конструируется в рамках политики памяти (исторической политики, политики прошлого – в зависимости от терминологической позиции разных исследователей), т. е. является той частью национальной идеологии, которая содержательно связана с официальной картиной прошлого и транслируется посредством СМИ, экспертных сообществ, музейной сферы, системы образования, мемориальных законов, произведений официального искусства, официальных коммемораций и пр. П. Новик базовыми чертами политической памяти называл упрощение, категоричность и мифологичность: «Она видит события единственно в перспективе собственных интересов; она не терпит многозначности, редуцируя события до мифических архетипов» [Цит. по: 16, с. 38]. А. Ассман этим чертам добавляет идею о том, что политическая память «достигает стабилизации за счет чрезвычайной плотности содержания, высокой символической интенсивности, коллективных ритуалов и нормативной обязательности», «имеет тенденцию к унификации и инструментализации» [16, с. 58]. Она ориентирована на долгосрочное существование, массовость усвоения и широту распространения.

2. Культурная память

Под культурной памятью понимается тип надындивидуальной памяти, аккумулирующей в себе коллективные, ценностно значимые воспоминания, намеренно сохраняемые и транслируемые в мифосимволических формах. В

отличие от политической памяти, культурная память «характеризуется необходимым многообразием воплощения в текстах, визуальных образах, трехмерных артефактах.<...>...Нуждается по ходу истории в постоянном истолковании, обсуждении и обновлении, поскольку это содержимое усваивается следующими поколениями и должно соответствовать актуальным потребностям, вызовам современности» [16, с. 58], опирается на индивидуальные способы обращения и всячески противостоит унификации.

Культурная память, согласно идеям Я. Ассмана, обладает рядом специфических черт:

- консервативность (культурная память обеспечивает накопление и хранение представлений о прошлом);
- коллективизм (содержание культурной памяти связано с представлениями о прошлом различных социальных групп);
- символичность (культурная память объективируется в виде обобщенных, символических, мифологических конструкторов);
- антиисторичность (объяснение событий, процессов и явлений в пространстве культурной памяти происходит в том числе за счет привлечения иррациональных сил, алогичных конструкций, внерациональных аргументов и пр.);
- письменный характер (появление культурной памяти связано с появлением письменности как инструмента распространения ее содержания);
- искусственность (культурная память есть продукт конструирования; субъектами конструирования культурной памяти могут выступать различные общественные, государственные, политические силы);
- экспертный характер («работа» с содержанием культурной памяти осуществляется делегированными группой экспертами, а не всеми членами коллектива);
- сакральность (обращение к культурной памяти ритуализировано, осуществляется в форме «вечного возвращения» к священному опыту предков).

М. Бэл к обозначенным Я. Ассманом чертам культурной памяти добавлял также деятельностный и целенаправленный характер: «Мемориальное присутствие прошлого принимает различные формы и служит многим целям, начиная от сознательного вспоминания и заканчивая неререфлексируемым возрождением, от ностальгической тоски по утраченному до полемического использования прошлого для изменения настоящего. Взаимодействие между настоящим и прошлым, составляющее основу культурной памяти, является, однако, продуктом коллективной деятельности, а не результатом психической или исторической случайности» [264, с. 7].

М. Л. Шуб говорит о презентизме как значимой особенности культурной памяти, которая сводится к тому, что содержание культурной памяти воспроизводит актуальные процессы, явления, ценностные ориентиры и пр. [221, с. 67].

От себя обозначим еще одну значимую черту культурной памяти – ее репрезентативность. Она не существует сама по себе как набор неких сакральных знаний, но нуждается в различных формах объективации с помощью мемориальных медиумов. По словам А. Ассман, «абстрактное понятие “культурная память” подразумевает широкий спектр культурных практик: консервация следов, архивирование документов, коллекционирование произведений искусства и антикварных предметов с возможностью их реактивации посредством медийной репрезентации и педагогической работы» [6, с. 25]. То есть культурная память, в отличие от коммуникативной, например, имеет мощную основу в виде материальных носителей (тексты, монументы, ритуалы, изображения и пр.), которые имеют вневременной характер, хранят воспоминания в знаково-символической форме за рамками воспоминаний отдельных индивидов и позволяют будущим поколениям приобщиться к общим для группы воспоминаниям.

3. Коммуникативная память

Данный тип памяти охватывает недавнее прошлое и может считаться памятью поколений. Я. Ассман и А. Ассман (нередко она использует для

обозначения данного типа памяти термин «социальная память») выделяют следующие черты коммуникативной памяти:

- оперативный (кратковременный) характер, детерминированный связью с ее «живыми» носителями (время существования коммуникативной памяти 40–80 лет): «Эта память возникает во времени и проходит вместе с ним, точнее, со своими носителями. Когда носители, воплощавшие ее, умирают, она уступает место новой памяти» [20, с. 52–53];

- биографичность (связь с личными воспоминаниями очевидцев событий);

- социальное взаимодействие как условие бытования;

- речевая коммуникация как источник пополнения мемориального контента (так называемый *memory talk* или *conversational remembering*);

- вторичность материального компонента;

- разнообразие и дискретность.

Важно подчеркнуть, что все три выделенных типа памяти имеют социальную и коллективную природу, выходящую за пределы индивидуальных воспоминаний, но, безусловно, опирающуюся на них. Мы не будем в данном случае погружаться в историю полемики относительно реальности существования коллективной памяти – это предмет отдельного разговора. Согласимся лишь в данном вопросе с аргументацией А. Ассман, которая во многом опирается на концепцию социальных рамок памяти М. Хальбвакса: «Каждый человек формируется под воздействием ключевых исторических событий своего времени независимо от того, разделяет он или нет с другими представителями своей возрастной когорты те или иные убеждения, установки, мировоззренческие взгляды, социальные ценности и культурные парадигмы. Это означает, что индивидуальная память определяется не только собственным временным диапазоном, но и более широким горизонтом поколенческой памяти, от которого зависят формы проработки индивидуального опыта» [16, с. 23].

Таким образом, сделаем акцент на том, что мемориальная культура репрезентует не частные представления о прошлом (индивидуальные воспоминания; память как психическая функция), а ценностно наполненные, закрепленные в социальных групповых практиках, темпорально транслируемые, публично выраженные формы мемориализации. При этом данные формы могут иметь различную временную устойчивость (завершаться с уходом представителей поколений или существовать на протяжении веков), различные ареалы (носить массовый характер или быть семейной традицией) и инструменты (устно передаваться от поколения к поколению или транслироваться посредством СМИ, выступлений политических лидеров, учебников истории и пр.) распространения. Но все они носят устойчивый, воспроизводимый и репрезентативный характер. Репрезентативность мемориальной культуры и коллективной памяти, по мысли А. Ассман, проявляется одновременно в двух плоскостях: «репрезентирует значимый для коллектива фрагмент прошлого» и «репрезентативна по отношению к индивидуальной судьбе, представляя ее как часть истории» [17, с. 16].

Принципиальными видовыми чертами мемориальной культуры являются:

– публичность (открытая презентация мемориальных действий, доступность непосредственного участия и/или эмоционального соучастия аудитории);

– социальность (репрезентация и/или формирование посредством мемориальных действий ценностных установок не отдельной личности, а определенной социальной группы);

– медиативность (включение в мемориальную деятельность различных медиумов, репрезентирующих ее ценностно-нормативное содержание; в качестве медиумов могут выступать музеи, памятники, фильмы, ритуальные действия и пр.);

– воспроизводимость (устойчивый характер мемориальных представлений и действий, закрепленных в культурных ценностях, нормах, практиках, моделях поведения, транслируемых из поколения в поколение в качестве эталонных образцов);

– ритуализированность (наличие алгоритмизированной основы мемориальной деятельности и/или мемориального нарратива, правил, предписаний, установленного порядка, лежащих в их основе и подлежащих повторению);

– презентативность (связь мемориальной культуры с ценностными, идеологическими установками настоящего, выступающего призмой оценки прошлого);

– активность (выраженная деятельностная составляющая).

Акторами мемориальной культуры (субъектами реализации мемориальной деятельности) могут выступать и институции (прежде всего государство), и общественные организации, и социальные группы, и частные лица. Несмотря на применение разных мнемонических стратегий, акторы ориентируются в своей практической деятельности на тот функциональный потенциал, которым обладает не столько прошлое само по себе, сколько возможности его использования в символическом пространстве мемориальной культуры.

А. Ассман выделила три типа мемориальных акторов, соответствующих трем послевоенным поколениям немцев, каждое из которых выработало собственную стратегию мемориального поведения.

1. Поколение отцов (свидетели войны и поражения Германии): стратегия молчания «о своем недавнем неблагоприятном прошлом» и о былой «восторженной поддержке нацистского режима» [6, с. 43]; «стратегия молчания, вокруг которой сложился своего рода общественный договор, оказалась полезной с прагматической точки зрения – для эффективного строительства новой Германии, – но не способствовала моральному оздоровлению общества» [105, с. 35].

2. «Поколение 1968-го»: стратегия конфликта с поколением отцов, основанная на резком осуждении не только их нацистского прошлого, но и молчания о нем. Именно представители этого поколения являются создателями новой мемориальной культуры, суть которой заключается в том, что от ответственности за преступления национал-социализма невозможно избавиться; проработка этой вины не может быть завершена, и ответственность за нее, как «эстафету памяти», придется передать следующим поколениям[17, с. 122].

3. «Поколение внуков»: стратегия качелей. С одной стороны, для представителей данного поколения мемориальных акторов свойственно стремление к познанию собственных корней, генеалогии, семейной истории, к формированию целостной и относительно непротиворечивой картины прошлого. С другой стороны, они восстают против «интерпретативной власти» своих отцов, «поколения 1968-го года», чтобы познать историю Третьего рейха, Холокоста, Второй мировой войны с позиции самих же немцев –беженцев, жертв бомбардировок, депортаций, политического террора и пр.

М. Бернхард и Я. Кубик разделили мемориальных акторов на несколько категорий в зависимости от транслируемой ими стратегии обращения с прошлым:

1) мнемонические воины, создающие собственное видение прошлого и не терпящие никакой конкуренции в этой сфере; их «историческая правда» всегда легитимна и не подлежит оспариванию;

2) мнемонические плюралисты допускают альтернативные картины минувшего;

3) мнемонические уклонисты (отказники) избегают общественного участия в обсуждении и оценке событий прошлого;

4) мнемонические проспекторы (наименее изученный тип мнемонических акторов) убеждены, что понимают суть стратегий управления прошлым для моделирования желаемого будущего [265, с. 16].

В контексте нашего исследования нам ближе подход А. Ассман, которая понятие мемориального актора распространяет не только на политические силы, но и на всех вовлеченных в мемориальные процессы, как на самых высших (политики, журналисты, общественные деятели, эксперты, профессиональные историки, представители сферы образования и искусства), так и на низших (активные граждане, инициаторы мемориальных проектов, обычные люди, интересующиеся историей собственной семьи и т. п.) уровнях. Типология же М. Бернхарда и Я. Кубика (равно как, например, суждения о мнемонических акторах О. Ю. Малиновой и А. И. Миллера [118]) фактически ставит знак равенства между субъектами мемориальной деятельности и субъектами политики памяти.

Исходя из такой позиции исследователи типологизируют и саму мемориальную культуру, называя каждый ее тип «режимом памяти». Критериальным основанием выделения данных режимов является доминирование того или иного типа акторов. Например, гегемония мнемонических воинов позволяет говорить об унифицированном режиме памяти; конфликтное существование разных типов акторов – о раздробленном режиме; сосуществование плюралистов, уклонистов и проспекторов – о столпообразном режиме [265].

Ф. Артог, говоря о режимах историчности (мировоззренческой призмы интерпретации прошлого), выделял три базовых режима: старый (ориентированный на актуализацию прошлого как золотого века и источника опыта), новый (ориентированный на будущее и связанные с ним ценности – прогресса, развития и пр.), христианский (ориентированный на сакральное время – вечность). К этим трем режимам можно добавить современный режим, относительно которого Ф. Артог указывал лишь то, что он ориентирован на настоящее [14].

Исторические нарративы Й. Рюзена представлены четырьмя типами: традиционным (признание значимости прошлого как основания для управления настоящим и моделирования будущего), назидательным

(восприятие прошлого как свода правил и моделей поведения, следование которым представляется обязательным в силу их проверенности временем), критическим (отрицание аксиологической значимости прошлого) и генетическим (наиболее гибкий тип нарратива, подразумевающий историческое восприятие прошлого как изменчивой, трансформирующейся, адаптирующейся субстанции) [169, с. 52].

Еще раз отметим, что выделенные типы разного рода темпоральных интерпретационных систем (в риторике разных исследователей они называются режимами историчности, историческими нарративами, режимами памяти и пр.) – это своего рода идеальные типы М. Вебера, некие абстрактные построения, описывающие масштабные социокультурные закономерности и процессы в самом обобщенном виде. Мемориальная же культура, на наш взгляд, прежде всего представляет собой социокультурную эмпирику – набор реально функционирующих практик обращения с прошлым, отражающих состояние того или иного общества в конкретный период времени. Поэтому построение типологии мемориальной культуры по аналогичному принципу практически невозможно. Разговор о различных типах мемориальной культуры имеет смысл лишь, во-первых, на основе изучения всего многообразия форм мемориальной деятельности, формирующих ее целостность; во-вторых, на основе сравнения различных историко-культурных условий их существования.

Именно в данной исследовательской логике работали уже упоминавшиеся М. Бернхард и Я. Кубик, которые выделяли типы мемориальной культуры на основе изучения 17 «посткоммунистических» стран (государства, входившие в состав СССР, и страны так называемого социалистического блока). Такой же логики придерживается и Н. Копосов, полагавший, что существуют два типа «мемориальных ориентаций», в основе которых лежат разные типы памяти: культурная, опирающаяся на индустрию наследия (тип, преобладающий в Западной Европе); политическая,

составляющая суть политики памяти (в большей степени распространен на территории Восточной Европы и России) [99, с. 129].

На аналогичном эмпирическом материале (страны постсоветского пространства) выстроили свое исследование мемориальной культуры Д. Н. Нечаев и О. В. Леонова [132]. Украина, Грузия, Прибалтийские республики, Молдова, Киргизия, Армения, Узбекистан относятся к категории государств с мифологизированной мемориальной культурой (эстетический тип), в которой именно политические и исторические мифы «определяют процесс оформления этнической и гражданско-государственной идентичности этих стран» [132, с. 15]. Кроме этого, для данного типа мемориальной культуры характерны избирательный подход к интерпретации исторических фактов, интеграция политической мифологии в научное и повседневно-коммуникативное пространства и ориентация на краткосрочный эффект воздействия. Другой тип мемориальной культуры (миметический, или гибридный), в большей степени характерный для России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, отличается стремлением к долгосрочной перспективе воздействия, «более спокойной интерпретацией событий прошлого, включая острые периоды XX и XIX вв.» [132, с. 15], а также стремлением (правда, нередко декларативным) к поиску истины в процессе интерпретации прошлого.

Как было отмечено, выделение абстрактных типов мемориальной культуры в отрыве от реального историко-культурного контекста их бытования представляется нам затруднительным и неэффективным. Мы полагаем, что корректнее было бы говорить о критериях типологизации, которые можно использовать при эмпирическом изучении различных социокультурных вариантов мемориальной культуры. В качестве подобных критериев могут, например, выступить:

- доминирующий актер (акторы) мемориальной культуры;
- доминирующий тип (типы) репрезентуемой памяти (политической, культурной, коммуникативной);

- наличие/отсутствие консенсуса в интерпретации содержания и форм реализации мемориальной культуры между различными акторами, типами памяти;
- темпоральная, контентная и ритуальная устойчивость мемориальной культуры;
- доминирующий вектор (векторы) мемориальной деятельности;
- степень проницаемости (ценностной, обрядовой и пр.) различных уровней мемориальной культуры;
- характер директивности реализации мемориальной деятельности, жесткость регламентации ее наполнения;
- функциональная доминанта мемориальной культуры.

Говоря о функциях мемориальной культуры, стоит отметить, что она в целом позволяет наладить темпоральный диалог настоящего и прошлого, обеспечить преемственность поколений, сформировать систему социальной саморефлексии, укрепить идентичность. Социокультурные функции мемориальной культуры чрезвычайно разнообразны, особенно в контексте ее морфологической неоднородности (в ее структуру входят такие феномены, как мемориальный нарратив, мемориальный туризм, мемориальные музеи, мемориальное искусство и пр.). Так, скажем, мемориальный нарратив, идеологическое ядро мемориальной культуры, выполняет главным образом интерпретативную и регулятивную функции. Система конвенциональных публичных высказываний о прошлом, формирующая общесоциальную стратегию обращения с ним и являющаяся сутью мемориального нарратива, оказывает влияние (иногда и регламентирует) на все формы мемориальной деятельности – как публичной, так и приватной. Музейная мемориализация, также выполняя интерпретационные функции и являясь одним из институциональных каналов трансляции мемориального нарратива, главным образом реализует функцию консервации и презентации *past*-контента. В качестве одной из важнейших функций кибермемориализации можно

выделить функцию популяризации, т. е. распространения мемориальной информации (факт смерти, сведения о памятных датах и т.п.) в сетевой среде.

Кроме того, в разных историко-культурных контекстах могут доминировать разные функции мемориальной культуры в зависимости от актуальных мемориальных запросов и имеющихся ресурсов на их реализацию. Поскольку мемориальная культура напрямую связана с культурной памятью, она имеет и четкую национальную специфику, что неизбежно отражается на ее функционале.

В качестве универсальных функций мемориальной культуры выделим следующие.

1. Идентификационная функция

Участие в различных формах мемориальной активности, будь то частных, частных или официальных, публичных, обеспечивает человеку чувство причастности к группе, частью которой он себя считает, к разделяемым данной группой ценностям и картине мира. Эта функция или даже миссия мемориальной культуры лаконично сформулирована В. Каттерманн в мемориальном слогане: «Сегодня мы именно такие, ибо пережили это» [283, с. 463].

2. Интеграционная функция

Естественным следствием обретения идентичности является формирование устойчивых связей человека с группой, осознание ее специфичности в сравнении с другими и одновременная дифференциация от них. Собственно идентичность и маркируется процессом культурной консолидации, т. е. стремлением к обладанию «общими или близкими культурными признаками, позволяющими четко отличать “своих” от “чужих”, воспроизводить аутентичный опыт бытия, минимизировать конфликты между культурно близкими социумами, группами и индивидами» [180, с. 75].

Говоря о коммеморациях, А. Мегилл выразил идею, общую для всех направлений мемориальной культуры: «Коммеморация возникает в

настоящем из желания сообщества, существующего в данный момент, подтверждать чувство своего единства и общности, упрочивая связи внутри сообщества через разделяемое его членами отношение к прошлым событиям, или, более точно, через разделяемое отношение к репрезентации прошлых событий... Коммеморация – это способ скрепления сообщества, сообщества коммемораторов» [121, с. 116]. Можно сказать, что мемориальная культура обеспечивает групповую солидарность, формирует чувство сопричастности не только общему прошлому, но и общим чувствам, переживаемым в процессе реализации ритуальных актов его актуального воспроизводства.

3. Ценностно-формирующая (этическая) функция

Любой образ прошлого ценностно окрашен, и вовлечение в деятельность по его поминовению невозможна вне ценностных ориентиров. А. Ассман считает этическое содержание мемориальной культуры ключевым, задающим рамки ее социальному бытованию: ее концепция памяти «строится вокруг этических категорий, в первую очередь – вокруг категории вины, ее признания или отрицания. Этот теоретический подход применяется ею при анализе мемориальной культуры современного мира и прежде всего памяти немецкого общества» [105, с. 34]. В работе «Новое недовольство мемориальной культурой» А. Ассман в качестве иллюстрации мысли о значимости нравственной миссии мемориальной культуры приводит цитату из публичного выступления одного из представителей бундестага на открытии берлинского мемориала жертвам Холокоста: «Этим мемориалом мы хотим почтить память убитых и напомнить о невыносимых событиях немецкой истории, а также призвать будущие поколения не допустить новых посягательств на права человека, неизменно защищать демократическое правовое государство, отстаивать равенство людей перед законом, сопротивляться любым проявлениям диктатуры и насилия» [17, с. 68–69].

Значение этической функции мемориальной культуры стало осознаваться лишь в конце прошлого века. Этот этический прорыв, по мысли Ф. Книгге, связан с началом критического осмысления преступлений

государства и общества. Значимая роль этического компонента наиболее глубоко разрабатывалась немецкими исследователями (Т. Адорно, А. Ассман, Ф. Книгге, М. Флакке, У. Шмигельт, Х. Вельцер), которые во многом актуализировали и универсализировали этический тренд современной мемориальной культуры, выведя его за рамки национальной картины прошлого.

Специфика этической функции мемориальной культуры в ее актуальном измерении во многом связана с преобладанием импульса к забвению над импульсом к сохранению. Это продиктовано масштабом и ужасающим характером тех катастроф, с которыми столкнулось человечество в XX в. и которые побуждают к обнулению и обновлению культурной памяти, освобождению ее от страшных воспоминаний. И чем сильнее первый импульс, тем важнее следовать нравственному императиву «Помни!», имманентно заложенному в ценностном основании мемориальной культуры: «Памятник служит напоминанием, обязывая не забывать не только потому, что память всегда недолговечна, но и потому, что она неизменно стремится избавиться от бремени воспоминаний. <...> Помнить о том, что хочется забыть, не является антропологической потребностью, поэтому обращение к прошлому носит этический характер» [17, с. 221–222].

4. Функция ритуализации

Практическое воплощение идентификационной, интегративной и этической функций реализуется в пространстве мемориальных ритуалов, т. е. «социально стандартизированных и повторяющихся символических действий» [284, с. 9]. По мнению А. Ассман, именно ритуалы являются обязательным и самым визуально доступным элементом любой мемориальной культуры, а потому с наибольшей эффективностью выполняют функции культурного трансфера от акторов мемориальной политики к ее субъектам.

Мемориальные ритуалы (главным образом связанные с официальной коммеморацией и политикой памяти) выступают сферой проверки всей

мемориальной культуры на легитимность и социальное принятие. Их особая задача состоит в формировании ценностных и деятельностных границ для иных («низовых», спонтанных, бытовых) форм мемориальной активности. К другим задачам мемориальных ритуалов А. Ассман отнесла следующие: «символическая интеграция, формирование консолидированного сообщества, субститутивное принятие исторической ответственности, делегирование полномочий небольшой группе политиков, а также установление согласия без консенсуса» [17, с. 82].

Кроме того, благодаря стандартизованности, повторяемости, театральности, мемориальные ритуалы вовлекают в пространство мемориального действия всех его участников, обеспечивая устойчивые эмоциональные связи между членами социальной группы и приобщение к ее ценностно-идеологическим установкам: «Через праздник как первичную организованную форму культурной памяти происходит возвращение к правремени сотворения мира, горизонт расширяется до космического, до времени творения. Соблюдение обрядов обеспечивает идентичность группы и функционирование мироздания» [65, с. 60].

5. Стабилизационная функция (функция темпоральной гармонизации)

Цитата Э. Дюркгейма, приведенная выше, во многом описывает данную функцию мемориальной культуры, которая посредством участия членов группы в общей ритуализированной деятельности способствует нивелированию чувства темпорального разрыва между прошлым и настоящим. П. Нора писал о том, что в местах памяти находит место ощущение непрерывности времен [134, с. 17], а Ю. М. Лотман указывал на панхронность культурной памяти и ее уникальную способность противостоять времени, сохранять прошлое как часть актуальности [108, с. 201].

Мемориальная культура, в основе которой лежат разного рода формы обращения к прошлому, создает иллюзию того, что прошлое не миновало, а

сохранило теснейшие личные или социальные связи с настоящим, визуализирующиеся в пространстве мемориальных ритуалов.

В качестве иллюстрации стабилизационной функции мемориальной культуры можно привести фрагмент повести В. Распутина «Прощание с Матерой», а именно – проникнутые горечью реплики Дарьи, сказанные ею накануне затопления острова: «Могилки, значитца, так и оставим? Могилки наши, изродные? Под воду?.. Ежли мы кинули, нас с тобой не задумаются кинут... – О-ох, нелюди мы, боле никто. Да как же без родных-то могилкок?!» [151, с. 71]. Кладбище в данном случае является не только ареной мемориальной деятельности, но и воплощением трансцендентного единства предков и потомков, символом межпоколенной связи, нивелирующей онтологический разрыв между прошлым и настоящим.

6. Манипулятивная функция

Пожалуй, в большей степени данная функция реализуется на уровне официальных форм мемориальной деятельности (мемориальный нарратив, мемориальной искусство, коммеморации и др.), чем на уровне бытовой мемориализации. Однако граница между ними редко оказывается предельно герметичной, а потому последствия манипулятивного обращения с прошлым проникают и на «низшие» (в терминологии А. Ассман), т. е. приватные, уровни мемориальной культуры.

Прошлое всегда выступало объектом манипуляции, поскольку во все времена оно считалось мощным идеологическим оружием и эффективным ресурсом символической политики. В качестве примера практической реализации данной функции А. Ассман приводит ситуацию с мемориальным кризисом, разразившимся в Германии в конце 1960-х гг., когда «шестидесятники использовали память о Холокосте для захвата дискурсивных властных позиций в Германии, из чего следует, что немецкая мемориальная культура является результатом их диктата (или даже диктатуры). Даже то, что выглядит демократическим волеизъявлением, – скажем, парламентское голосование о создании центрального еврейского

мемориала в Берлине, – оказывается на деле политическими интригами поколения, которое пользуется интерпретативной монополией...» [17, с. 63–64].

Однако манипуляция прошлым может быть и менее очевидной. Как, например, в ситуации со Швейцарией, политическая элита которой, в первой четверти XIX в., т. е. в период объединения кантонов и собственно формирования национального государства, активно использовала стратегию конструирования исторических мифов для обоснования собственной национальной идентичности.

7. Гуманистическая (экспрессивная) функция

Данная функция связана с возможностью публичного проявления чувства скорби, сожаления от утраты, визуализации стремления к сохранению памяти о значимом событии, человеке или группе – всего многообразия чувств, которые может испытывать человек в момент мемориального акта.

Г. Бозоглу, занимающаяся изучением различных «картин памяти», продуцируемых различными мемориальными акторами, посвятила экспрессивной функции мемориальной культуры целую книгу, назвав ее «Музеи, эмоция, мемориальная культура». В ней она представила результаты многолетнего исследования эмоциональных реакций посетителей наиболее крупных турецких музеев на музейные артефакты и транслируемые ими идеологические месседжи. По ее словам, главной целью исследования было увидеть, запечатлеть и описать «моменты встречи между посетителями и экспозициями, а также то, что происходит дальше... как коллективное поведение порождает преобладающее настроение» [267, с. 63].

А. Ассман в качестве наиболее яркого примера реализации экспрессивной функции мемориальной культуры приводит ситуацию с американским сериалом «Холокост»: «Впервые все немецкое общество прониклось сочувствием к еврейским жертвам; эмоциональное воздействие фильма, рассказавшего об отдельных человеческих судьбах, смогло навести

мосты над пропастью политизированного немецкого прошлого. ...Этот американский телесериал дал возможность сопереживания и для поколения очевидцев трагических исторических событий, и для последующих поколений» [17, с. 56].

Безусловно, обозначенные функции не исчерпывают всего функционального потенциала мемориальной культуры. Они лишь в общих чертах обозначают ту роль, которую мемориальная культура играет в современном социокультурном пространстве. В качестве сопроводительных или дополнительных функций мемориальной культуры можно было бы выделить также функции социализации (приобщение членов группы к разделяемому ею образу прошлого, системе его интерпретации, принятым историческим представлениям, ценностям и нормам, выработанным группой в отношении прошлого и т.п.) и познавательную (актуализация интереса к прошлому собственной группы, родственников, истории в целом). Стоит также отметить, что далеко не всегда функции мемориальной культуры носят исключительно позитивный и созидательный характер. Мемориальная культура может не только способствовать социальной консолидации, но и разделять общество, устанавливая разные правила и возможности воспоминания для разных его частей.

Но, так или иначе, нельзя не согласиться с мыслью В. Каттерман о том, что мемориальная культура играет исключительно важную роль, особенно в условиях современности, когда «только лишь одно действенное обращение к прошлому порой может сообщить нам самим, кто мы такие и куда нам идти» [283, с. 462].

Итак, в качестве *вывода* по главе хотелось бы отметить наиболее значимые позиции.

Во-первых, в объем понятия «мемориальная культура» мы включаем не только деятельность государственных, политических, властных и общественных субъектов в сфере «проработки» прошлого, но и всех акторов, заинтересованных в различных видах мемориальной активности (в том числе

и приватной). Важным атрибутивным моментом в понимании сути мемориальной культуры является ее феноменологический характер. Другими словами, к мемориальной культуре относится только то, что можно считать социокультурным явлением, т. е. то, что обладает ценностным наполнением, определенной степенью темпоральной устойчивости, воспроизводимостью, репрезентативностью по отношению к определенной социальной группе (социальность), ритуализированностью и публичностью.

На основании этого *мемориальную культуру* можно определить как совокупность историко- и социально детерминированных, устойчивых, воспроизводимых способов познания, интерпретации, описания, сохранения, трансляции прошлого, репрезентируемых в различных формах мемориальной деятельности.

Во-вторых, в основе любой мемориальной культуры лежит мемориальный контент – тот образ прошлого, который объективируется, опредмечивается, визуализируется в ходе мемориальной деятельности. Источниками данного контента являются три вида надындивидуальной памяти – политическая, культурная и коммуникативная. Политическая память конструируется в процессе реализации политики памяти (официальной, государственной стратегии обращения с прошлым), транслируется посредством официальных каналов (СМИ, искусство, образование, коммеморации и пр.) и характеризуется регламентированностью, институализированностью, монополистичностью.

Культурная память не имеет столь жесткой связи с государственной идеологической политикой в сфере прошлого, однако также носит в целом направляемый, институализированный, экспертный и актуализированный характер. В отличие от политической памяти, она не ограничивается временем существования конкретного государственно-властного «кластера», имеет большую временную длительность (как правило, формируется веками) и детерминируется не только конкретными актуальными интересами политической элиты, но и социокультурными архетипами, ценностями,

нормами. Она противостоит (не всегда успешно) унификации, подразумевает наличие живого и постоянного процесса истолкования, обновления, адаптации к меняющимся историческим контекстам.

Коммуникативная память по своей сути является памятью поколений, охватывает недавнее прошлое и может считаться памятью поколений; отличается оперативным (кратковременным) характером существования, связью с «живыми» носителями воспоминаний, биографичностью, коммуникативной природой, вторичностью материальной составляющей (тексты, изображения, личные вещи и пр.), дискретностью.

В-третьих, акторами мемориальной культуры (субъектами реализации мемориальной деятельности) могут выступать институты (прежде всего государство, политические партии), общественные организации, представители политики, образования, религиозной сферы, журналистики, искусства, социальные группы (например, семейный клан), частные лица и др.

Разные акторы имеют различные ресурсы влияния на существующую картину прошлого, его интерпретации и актуализации; мотивы их включенности в мемориальную деятельность также различны (от поминовения умерших до легитимизации собственной власти) и определены функциональными возможностями мемориальной культуры в том или ином обществе.

В-четвертых, в наиболее общем виде к универсальным функциям мемориальной культуры относятся: идентификационная (обеспечение чувства причастности индивида к группе, разделяемым данной группой ценностям и картине мире); интеграционная (формирование устойчивых связей человека с группой, осознание ее специфичности в сравнении с другими и одновременная дифференциация от них); ценностно-формирующая (аккумуляция и трансляция этического заряда, отражающего ценностные ориентации общества в целом или его отдельных подсистем; поддержание общесоциальных аксиологических ориентиров во времени и

пространстве); ритуализации (обеспечение ценностно-нормативного трансфера от акторов мемориальной политики к ее субъектам посредством вовлечения последних в ритуализованную мемориальную деятельность); стабилизационная (обеспечение преемственности поколений, нивелирование темпорального разрыва); манипулятивная (формирование и поддержание «желательного» образа прошлого посредством инструментов официальной политики памяти – СМИ, образование, мемориальный нарратив, коммеморативные практики и пр.); гуманистическая (возможность публичного проявления чувства скорби, сожаления от утраты, визуализации стремления к сохранению памяти о значимом событии, человеке или группе).

В-пятых, выявление и описание различных типов мемориальной культуры возможно лишь в ходе проведения реальных эмпирических исследований. Уровень абстрактного теоретизирования позволяет лишь выделить критерии для подобного определения типологического многообразия мемориальных культур. К такого рода критериям можно отнести: доминирующий актор; доминирующий тип (типы) репрезентуемой памяти (политической, культурной, коммуникативной); наличие/отсутствие консенсуса в интерпретации содержания и форм реализации мемориальной культуры между различными акторами, типами памяти; темпоральная, контентная и ритуальная устойчивость мемориальной культуры; функциональная доминанта мемориальной культуры; доминирующий вектор (векторы) мемориальной деятельности; степень проницаемости (ценностной, обрядовой и пр.) различных уровней мемориальной культуры; характер директивности реализации мемориальной деятельности, жесткость регламентации ее наполнения и др.

1.3. Структура мемориальной культуры³

Мемориальная культура предстает чрезвычайно многослойным феноменом, включающим в себя разнообразную палитру мемориальных явлений. Стоит отметить, что, несмотря на это, в современных исследованиях структура мемориальной культуры либо не обозначается вообще, либо просматривается исключительно в контексте общего повествования. Как, например, в работах А. Парр, которая выделяет два масштабных морфологических пласта мемориальной культуры – пласт содержания (ценностные и нормативные установки, лежащие в ее основе) и пласт выражения (практическое воплощение этих установок в разнообразных видах мемориальной активности) [294].

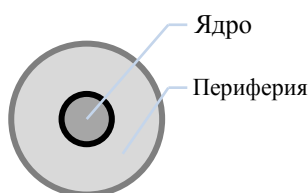
Е. В. Сазонникова структуру мемориальной культуры представляет в качестве набора разного рода «носителей» мемориальных идей, т. е. способов их объективации: публичные выступления и официальные документы мемориальной направленности, художественные произведения, увековечивающие память о значимых личностях или событиях, мемориальные церемонии и ритуалы, награды и премии, места захоронений, мемориальный нейминг [175, с. 33].

Мы полагаем, что структуру мемориальной культуры можно представить, как систему, состоящую из совокупности элементов, выделяемых в зависимости от различных критериев.

1. Критерий соподчинения (рис. 1). В данном случае мемориальная культура предстает системой, состоящей из ядра (идейно-ценностное основание, совокупность представлений о прошлом, его оценок,

³ В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографии автора: Современная мемориальная культура Чеченской Республики (теоретико-методологические и прикладные аспекты изучения). С. 93-140; Мемориальный музей как актор мемориальной культуры. С. 97-102; Феномен коммеморации в структуре мемориальной культуры. С. 97-100; Мемориальный туризм как направление мемориальной культуры: сущность, типы, причины востребованности. С. 12-17; Феномен мемориального нарратива: теоретические основания и практики социокультурного бытования. С. 7-12; Феномен стихийной коммеморации: сущность, типы, функции. С. 13-19; Кино как инструмент объективации мемориальной культуры. С. 424-427.

ретроконента и пр.) и периферии (деятельностное воплощение идейно-ценностных установок мемориальной культуры).



**Рис. 1. Структура мемориальной культуры
(критерий соподчинения)**

2. Критерий регламентированности (рис. 2). Различные компоненты мемориальной культуры испытывают различное влияние официальной политики памяти: мемориальный нарратив является по сути концентрированным выражением ее содержания, официальные формы мемориальной деятельности (официальные коммеморации, деятельность государственных мемориальных музеев и индустрии художественного производства и пр.) могут воплощать ее установки в большей или меньшей степени, но не противоречить ей; неофициальные формы мемориальной деятельности (бытовые и стихийные коммеморации, «независимое» художественное производство, мемориальные программы частных музеев и пр.) могут занимать по отношению к официальной политике памяти преимущественную, альтернативную или конфронтационную позиции.



**Рис. 2. Структура мемориальной культуры
(критерий регламентированности)**

3. Критерий функциональности (рис. 3). Различные компоненты мемориальной культуры могут выполнять различные функции:

- конвенционально-презентационную (мемориальный нарратив);
- инициативно-деятельностную (мемориальные акторы);
- посредническую (мемориальные медиумы);
- репрезентационную (формы мемориальной деятельности).



**Рис. 3. Структура мемориальной культуры
(критерий функциональности)**

О мемориальных акторах мы говорили выше. В рамках данного параграфа обозначим специфику трех оставшихся компонентов мемориальной культуры.

Мемориальный нарратив

Мемориальный нарратив, т. е. «сюжетно оформленное повествование, предлагающее связную картину цепи исторических событий» [118, с. 19] или «система принципов текстовой генерации и презентации информации о событиях прошлого» [289, с. 47], является центральным элементом любой мемориальной культуры. На наш взгляд, второй вариант определения мемориального нарратива, предложенный группой исследователей под руководством А. Эткинда, можно взять в качестве базового, добавив к нему указание на ряд принципиальных особенностей мемориального нарратива, которые, с одной стороны, характеризуют собственно нарратив как особую

стратегию публичного текстового повествования, а с другой – его ретроориентированную природу. К таким особенностям можно отнести:

– устойчивость (мемориальный нарратив закреплен во времени, он должен «отстояться», апробироваться в разных историко-культурных обстоятельствах; в этом смысле разовая риторическая акция не может считаться нарративом);

– связность (мемориальный нарратив представляет собой непротиворечивое повествование о прошлом, в основе которого лежит генеалогический принцип построения аргументов и апелляция к последствиям исторических событий);

– воспроизводимость (актуализация мемориального нарратива в разных по типу, содержанию, авторству, аудиторной направленности текстах);

– сценарность (мемориальный нарратив строится по определенным и зависящим от контекста законам драматургии, ориентированным на продвижение строго заданной картины прошлого);

– презентизм (мемориальный нарратив транслирует интерпретацию прошлого, исходя из актуальной политической, социальной и иной повестки);

– социальность (мемориальный нарратив апеллирует к интересам определенной социальной группы, размер которой может варьироваться от отдельных субкультур до нации в целом);

– упрощенный характер (построение картины минувшего в формате упрощенных, легких для восприятия, мифосимволических схем).

И. В. Тивьяева использует понятие мнемического нарратива, который формально близок к нарративу мемориальному, но по сути имеет принципиальные отличия. Мемориальный нарратив характеризует принятые в обществе правила говорения о прошлом, мнемический же – является «повествованием, сконструированным на основе индивидуального мнемического опыта...» [188, с. 304].

Мнемический нарратив, как пишет автор, может считаться инструментом вербализации частных воспоминаний. Он представляет собой «структурированную дискурсивную форму, последовательно и логически воспроизводящую личный опыт субъекта (при возможном отступлении от хронологического порядка событий), включающую контекст, необходимый для интерпретации и аналитической обработки излагаемого, и несущую оценку значимости событий для нарратора и других субъектов» [188, с. 304].

Структура мемориального нарратива, по мысли Е. Топольского, организована на трех уровнях:

- информационном, связанном с исследовательским воображением историков;
- риторическом, ориентированном на убеждение аудитории в правдоподобности мемориального контента;
- теоретико-идеологическом, формирующем ценностно-нормативные основания ретроповествования [301, с. 199].

Американский политолог Дж. Диксон на основании изучения двух исторических кейсов (позиции Турции в отношении геноцида армян во время Первой мировой войны и Японии – в отношении резни в Нанкине) выделил элементы в рамках структуры мемориального нарратива:

- «← отрицание или замалчивание;
- конструирование мифов или релятивизация;
- признание факта события;
- признание причиненного вреда и выражение сожалений;
- признание ответственности;
- принесение официальных извинений;
- предложение компенсации;
- коммеморация события в формате, включающем признание вины государства за причиненный вред» [274, с. 16–19].

Основу мемориального нарратива составляют, с одной стороны, конкретные события прошлого, а с другой – способ их презентации. Исходя из этого, Й. Рюзен выделил несколько типов мемориального нарратива:

- позитивно окрашенные события, описание которых носит утверждающий характер;
- негативно окрашенные события, репрезентуемые в режиме отрицания;
- поворотные события;
- события, упраздняющие ранее легитимные модели социального взаимодействия [169, с. 52–54].

По мнению Л. П. Репиной, все эти события в разной последовательности и процентном соотношении присутствуют в любом историческом нарративе (она использует это понятие) и транслируются согласно относительно универсальному жанру «биографии нации». Законы этого жанра «требуют драматического развертывания и сюжетной завершенности событийного ряда, который, последовательно репрезентируя ключевые “места памяти”, “национальные ценности” и “культурные символы”, неуклонно и судьбоносно продвигается в линейной перспективе к актуальной действительности коллективного героя и сходится к субъекту идентификации в настоящий момент его существования... Исторический нарратив обычно организован не просто как цепь памятных событий, но и как история перехода общества из одного состояния в другое, от одного исторического периода к следующему, причем, как правило, каждый значимый период обрамляется “великими”, “переломными” историческими событиями, которые маркируют конец одного периода и начало следующего» [148, с. 19–20].

Л. Ю. Логунова и В. А. Рычков также выделили возможные типы мемориальных нарративов, соответствующие различным сценариям политики памяти:

– «сценарий воспевания исторического величия» (акцентирование внимания на героических страницах истории, выдающихся личностях и достижениях);

– «сценарий замалчивания» (нивелирование негативного исторического опыта, изъятие из пространства публичных дискуссий «сложных тем», закрытие архивов и пр.);

– «сценарий противоречивых нарративов» (стремление к примирению жертв и виновных, к преодолению исторического напряжения);

– «сценарий покаяния» (публичное признание вины со стороны государства или отдельных групп за совершенные в прошлом преступления и попытка компенсировать их последствия);

– «сценарий примирения и солидарности» («предполагает организацию дискурса, согласование принимаемых решений между акторами при координирующей и посреднической роли агентов властных институтов») [106, с. 203].

По мысли Л. Ю. Логуновой и В. А. Рычкова, право на мемориальный нарратив относится к числу столь же естественных прав человека, как право на свободу волеизъявления и др., поскольку возможность публичного проговаривания собственных темпоральных представлений дают возможность социальной группе конкурировать с другими группами, обретать собственную идентичность и пр. [106, с. 192].

Именно в силу того, что мемориальный нарратив имеет четко выраженную социально-групповую природу, довольно сложно говорить о его специфике применительно к обществу в целом – это реально лишь на уровне абстрактно-теоретических построений. На практике же он неизбежно распадается на более локальные направления *past*-повествования, которые, тем не менее, в совокупности дают представление о неких трендах публичного говорения о прошлом.

Так, например, Л. Б. Зубанова исследовала особенности медийной репрезентации травматичных исторических событий в современных российских проектах интернет-журналистов и блогеров:

- «явный интерес аудитории к интернет-проектам, направленным на актуализацию событий прошлого;
- высокая степень участия зрителей в обсуждении транслируемого контента (комментарии, дискуссии, внутренняя кооперация и реактивность пользователей);
- выраженная связь в оценке исторических событий с современным этапом развития;
- демонстрируемая альтернативность позиции интернет-аудитории в отношении официальной коммеморативной политики;
- противоречивость мнений в прочтении исторических событий (отсутствие консенсуса), острота и эмоциональность восприятия прошлого» [71, с. 36].

В рамках анализа мемориального нарратива публичной политической риторики Л. Б. Зубанова с группой соавторов реализовала анализ процесса конструирования образа прошлого в инаугурационных речах политических лидеров США, России и Польши. Для российского политического мемориального нарратива, по мнению культурологов, характерно следующее: идеи преемственности прошлого, настоящего и будущего; глубинная укорененность прошлого в тысячелетней истории России; понимание прошлого как противоречивого, неоднозначного, но великого и наполненного героическими свершениями; восприятие минувших веков, исторического наследия как преобразовательной платформы актуальной действительности [70, с. 154]. Подобный образ прошлого, по мнению Л. Б. Зубановой, строится при помощи особой риторики, основанной на ритмическом повторении одних и тех же слов: «история», «преемственность», «национальная память», «связь времен», «наследие», «позитивное прошлое», «традиции» и некоторых других.

М. Л. Шуб обращалась к изучению специфики мемориального нарратива, транслируемого силами современного российского кинематографа. Он позиционирует «картину героического прошлого, не лишённого при этом противоречий, трудных периодов, поражений. Наиболее значимыми ресурсами создания такой темпоральной картины выступают советское прошлое и прошлое, условно названное нами “далеким”. Такое “далекое” время ассоциируется с истоками российской государственности, временами его строительства, оформления границ, формирования национальной идентичности. Это время корней, истоков, архетипов... Советский же период даёт ощущение “только ушедшего вчера”, а потому связанные с ним события до сих пор воспринимаются остро и эмоционально. Кроме того, советская история во многом отождествляется с Великой Отечественной войной, тема которой очевидно доминирует не только в кинематографическом контенте, но и в тематике различных коммеморативных практик» [222, с. 97].

Е. Топольски анализировал механизм формирования и продвижения мемориального (в его терминологии – исторического) нарратива силами профессиональных сообществ, прежде всего историков и идеологов. Первый этап этого процесса связан с отбором информации о прошлом в соответствии с собственным видением прошлого и наличными задачами. Второй – с верификацией этой информации, убеждением аудитории в правдоподобности нарратива. Третий – с «запечатыванием» сущности нарратива, контролем его смысловой герметичности и отсутствием вольных трактовок [301, с. 201].

Важность изучения мемориального нарратива заключается, на наш взгляд, в том, что он позволяет понять смысловые, ценностные векторы саморефлексии общества; не столько зафиксировать непосредственные представления о прошлом, сколько увидеть в этих представлениях картину настоящего и уловить очертания будущего.

Мемориальные медиумы

Мемориальные медиумы представлены достаточно широким перечнем институций и учреждений – от общего образования до СМИ. Главное, что их объединяет – общая миссия, связанная с трансляцией официального мемориального нарратива. Мемориальные медиумы могут быть в разной степени аффилированы с государством – непосредственно (как, например, государственные СМИ или система общего образования, деятельность которых и содержательно, и финансово регламентируется государством) или опосредованно (сфера мемориального искусства, в рамках которой, например, кинофильмы мемориальной тематики, отражающие основные установки мемориального нарратива, создаются при финансовой поддержке государственного Фонда кино; или когда выделяются государственные гранты на художественные проекты, транслирующие мемориальные идеи, вписывающиеся в формат государственной мемориальной политики).

Ниже мы предлагаем не исчерпывающий перечень мемориальных медиумов, но лишь некоторые из них – те, которые, на наш взгляд, играют в современной мемориальной политике особенно заметную роль (к этому списку можно было бы добавить и СМИ, но о них шла речь в контексте разговора о мемориальном нарративе и пойдет речь ниже, в 3 главе диссертации).

Мемориальные выставки и музеи

Мемориальные музеи и выставочные комплексы сегодня являются одними из наиболее значимых и активных мемориальных медиумов, иницилирующих и транслирующих актуальную мемориальную повестку. Мемориальные музеи решают задачи, с которыми «обычный музей» или локальные мемориалы не могут эффективно справиться в силу самых различных причин: избыточной функциональной нагрузки, ограниченности функционала, отсутствия соответствующих компетенций и пр. Согласно еще советскому определению, «мемориальный музей – музей, посвященный событию или лицу, расположенный на памятном месте или в памятном здании и располагающий комплексом мемориальных предметов, создающих

в полном объеме или частично обстановку, в которой жил или работал выдающийся человек» [214, с. 5].

По мысли А. М. Разгона, мемориальный музей представляет собой разновидность музея, «посвященного выдающимся историческим событиям, государственным, политическим, общественным и военным деятелям, деятелям науки, литературы и искусства» [150, с. 160].

А. Ассман также определяет мемориальный музей предельно широко как «культурный институт, где общество хранит реликты и следы прошлого после того, как они теряют живую связь со своими прежними контекстами» [16, с. 54].

В самом общем виде мемориальные музеи представляют собой особого рода музейные институции, точно ориентированные на сохранение субъектно-событийной памяти.

Ключевым содержательным параметром мемориального музея является его мемориальность, «которая проявляется как характеристика события или человека, свойство музейного предмета или коллекции музейных предметов, указывающее на их принадлежность конкретному лицу или событию, характеристика места или здания, в котором расположен музей, свойство музейной экспозиции соответствовать исходной бытовой обстановке, наконец, особый ритуал посещения музея, при котором информационная функция подчинена эмоциональной» [34, с. 9].

Согласно Э. Содаро, мемориальные музеи бывают трех типов:

1) музей как пространство поминовения (музеи, посвященные констатационной памяти каких-либо конкретных событий);

2) музей как пространство соучаствующей памяти (музеи, на уровне названия, логики экспозиции, медиации с посетителями, транслирующие призыв, оценку, действие в отношении тех или иных фрагментов прошлого);

3) музей как пространство открытой рефлексии (музеи, предоставляющие посетителям самостоятельно не только освоить музейную

среду, но и сформировать собственное мнение относительно мемориального повода и презентуемого контента) [181].

Однако такой подход к пониманию типового разнообразия мемориальных музеев не является единственным. Мемориальные музеи также классифицируют в зависимости от того, находятся ли они на месте мемориализуемого события или нет. В этом случае выделяют мемориальные музеи как места памяти и мемориальные музеи как места о памяти.

Кроме того, в России (согласно официальной документации) разделяют частные и государственные мемориальные музеи. Одним из критериев типологизации мемориальных музеев является предмет мемориализации.

К слову сказать, между российской и зарубежной практиками существования мемориальных музеев есть еще одно отличие, которое также дает основание для выделения двух типов такого рода институций. В России, как правило, мемориальные музеи носят содержательно «нейтральный характер», т. е. связаны с увековечиванием памяти о значимых для российской истории событиях и личностях, внесших вклад в развитие отечественной культуры (в широком смысле этого слова). За рубежом, напротив, преобладают музеи, работающие с «трудным прошлым», коллективным опытом переживания травм, трагических событий. Соответственно и миссии у двух типов мемориальных музеев существенного отличаются – информационно-просветительская у первых и преобразовательно-действенная, идентификационно-формирующая у вторых.

Ниже речь пойдет в большей степени о музеях именно такого, второго типа, поскольку они, на наш взгляд, позволяют лучше понять специфику мемориального музея в сравнении с музеями других профилей (краеведческих, художественных и пр.).

Помимо традиционных для любого музея функций (сохранение, трансляция, интерпретация информации о прошлом), мемориальные музеи выполняют также ряд специфических функций:

1) ритуальную (в мемориальных музеях происходит процесс ритуального погружения в прошлое, а через него – приобщение посетителей к группе, являющейся предметом мемориализации, формирование пространства мемориальной эмпатии, развитие диахронного воображения);

2) рефлексивную (мемориальные музеи ориентированы на то, чтобы посетители представили себя в момент мемориального действия, задумались о причинах случившегося, о последствиях, о границах нравственно допустимого);

3) идентификационную (эта функция в целом реализуется и музеями иных типов, однако в работе мемориальных музеев она приобретает особое значение);

4) легитимизирующую (предоставление авторитетной и обоснованной интерпретации «спорных» событий прошлого)

Оговоримся, что данные функции наиболее ярко проявляются в деятельности мемориальных музеев, посвященных трагическим событиям прошлого, коллективным социальным травмам, и в меньшей степени – в деятельности «нейтральных» мемориальных музеев (например, мемориально-литературных или мемориально-музыкальных, которые по своему статусу и являются мемориальными, но ориентированы на мемориализацию биографии, увековечивание памяти о выдающихся личностях).

В целом мемориальные музеи в сравнении с музеем как таковым, по мысли Э. Содаро, презентуют «новый тип интерактивного взаимодействия с прошлым. Таким образом, их можно считать новым типом музея – “музеем опыта”... Они больше заняты не традиционными функциями вроде сбора и хранения материалов, а обучением посетителей и производством опыта. Вместо того, чтобы просто рассказывать о прошлом, мемориальные музеи хотят дать посетителю возможность “пережить” опыт прошлого. Их движущей силой может быть нарратив или идея (например, рассказ о Холокосте или понятии “права человека”). В любом случае музеи опыта

используют мультимедиа и интерактивные дисплеи, чтобы увлечь посетителя своим нарративом, помочь ему идентифицироваться с кем-то из героев этого нарратива и активно участвовать в нем. Этот рассказ важнее, чем предметы, выставленные в музее, хотя без артефактов и других материальных свидетельств и копий не удастся одновременно придать ему аутентичность и гарантировать эмоциональное воздействие» [181].

Г. Бозоглу, автор масштабного труда о музейном столкновении различных интерпретативных линий турецкой истории «Музеи, эмоция, мемориальная культура», полагает, что именно эмоциональная составляющая взаимодействия музея и посетителя является наиболее значимой и в конечном счете основной в определении эффективности работы мемориального музея. Свою работу она посвятила изучению аффективной стороны восприятия музейного контента, «моментам встречи между посетителями и экспозициями, а также тому, что происходит дальше... как коллективное поведение порождает преобладающее настроение» [267, с. 63].

По мысли З. Бонами, мемориальные музеи представляют собой «способ воссоздания прошлого на основании личных впечатлений, воспоминаний и опыта (в том числе телесного), а не общеисторического знания» [30, с. 51].

Эмоциональный компонент, чувственное вовлечение посетителей музея в информационное пространство экспозиции, превращение внешнего социального опыта в личное переживание формируют особый тип памяти, названный Э. Ландсберг «протезной», с одной стороны, формируемой посредством эмпатической включенности человека в события прошлого, а с другой – формирующей его нравственные, идеологические, политические императивы [См.: 181]. Благодаря протезной памяти мемориальные музеи обладают качественно иным в сравнении с обычными музеями ресурсным потенциалом, который не сводится исключительно к информированию, а ориентирован на изменение привычных механизмов мышления и поведения.

Именно поэтому мемориальный музей инкорпорирует в традиционные музейные формы деятельности новые, связанные с обеспечением мемориальной медиации широкого спектра – от образовательных и просветительских мероприятий до взаимодействия с правительственными организациями и сохранения свидетельств устной истории.

На этом основании выделим еще одну значимую черту мемориальных музеев – их презентизм, т. е. активную, деятельную ориентированность на актуальный преобразовательный эффект. Такие музеи создаются не столько для того, «чтобы помнили», сколько для того, «чтобы никогда не повторили».

Еще одной особенностью мемориального музея является его двойственная природа, в основе которой лежит противоречие между стремлением к предельной аутентичности, информационно-предметной атмосферности и восстановленным, репрезентативным характером мемориального музейного пространства. Для достижения первой задачи мемориальные музеи буквально по крупицам собирают «живые свидетельства» событий прошлого, работают с очевидцами и их воспоминаниями, стремятся создать у аудитории эффект эмоционального присутствия и погружения в атмосферу исторических событий. С другой же стороны, мемориальные музеи чаще всего появляются как результат научной и социальной рефлексии или как запрос на ее осуществление после того, как трагические события случились. Иногда между ними и датой создания музея проходят десятилетия и даже века, что затрудняет решение задачи по реализации предельно подлинной и подтвержденной артефактами исторической реконструкции. В этом смысле мемориальный музей является местом, в котором время одновременно и останавливается, и восстанавливается.

Возвращаясь к причинам востребованности мемориальных музеев в современном мире, выделим две наиболее важных из них. С одной стороны, мемориальный музей удовлетворяет социальный запрос на авторитетную,

верифицированную оценку сложных, неоднозначных событий прошлого, на поддержание и/или формирование мемориальной культуры общества, на *past*-рефлексию, необходимую для социокультурной ориентации. С другой – мемориальный музей выполняет социальный запрос на позитивную картину будущего, формируя коллективную надежду на то, что трагический опыт уже не повторится. По словам Э. Содаро, «Мы стали смотреть на прошлое с сожалением, и это чувство привело нас к мемориальным музеям. Когда-то прекрасное будущее виделось как социальный и политический порядок, а прошлое было всего лишь традицией, вросшей в повседневность. Сегодня будущее неясно, а прошлое стало основным полем, на котором воспроизводятся и упорядочиваются политика и жизнь. И мемориальные музеи, таким образом, играют ключевую роль в выстраивании нашего мира» [181].

Мемориальное искусство

Искусство, как известно, играет огромную роль в создании и продвижении идеологических установок, общественно значимых ценностей и норм, выступая эффективным идейным медиумом с огромным аудиторным охватом. В случае с мемориальной культурой искусство также эффективно выполняет свои медиальные функции. Не случайно А. Ассман монографию «Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика» открывает описанием мемориальной инсталляции художника Х. Хоайзеля, который в День освобождения концентрационного лагеря Аушвиц создал гигантскую видеопроекцию его ворот, наложив ее на Бранденбургские ворота.

Достаточно сложно коротко и схематично описать специфику мемориального искусства в целом, поскольку каждый вид искусства по-разному воплощает миссию мемориальной культуры и репрезентует содержание коллективной памяти. По мнению А. Ассман и ряда других исследователей, наиболее эффективно с этой задачей справляет кино. Так, И. Хеджеса, специалист в сфере *cinema memory* (направление *memorystudies*,

посвященное изучению кинематографа как архива и транслятора культурной памяти), убежден, что «одним из важнейших факторов, влияющих на культурную память во всех частях мира после Второй мировой войны, является кинематограф» [280, с. 3]. Эта мысль кажется нам справедливой в силу в силу нескольких обстоятельств:

- массовости киноаудитории и, соответственно, большого действенного эффекта;
- доступности формы и выразительности, эмоциональности повествовательного языка кино;
- наличия у киноискусства потенциала к «созданию иллюзии преодоления онтологического разрыва между прошлым и настоящим» [222, с. 88].

А. Ассман в работе «Новое недовольство мемориальной культурой» уделяет особое внимание вопросам отражения мемориальных установок современной западной культуры в кинопроизведениях. В частности, она подвергает подробному анализу американский сериал «Холокост» (1978) и немецкий трехсерийный художественный фильм «Наши матери, наши отцы» (2013).

Про первый она пишет: «“Холокост” действительно прорвал молчание, причем произошло это неожиданно и для носителя массовой культуры. Событие, вторгшееся в послевоенное западногерманское общество извне, показало прямо в домах жителей ФРГ историю уничтожения евреев на примере вымышленного семейства, вызвав у миллионов немцев эмоциональную реакцию сочувствия, которое объединило несколько поколений. Впервые все немецкое общество прониклось сочувствием к еврейским жертвам; эмоциональное воздействие фильма, рассказавшего об отдельных человеческих судьбах, смогло навести мосты над пропастью политизированного немецкого прошлого. <...> Эмоциональное сопереживание вымышленным персонажам, представляющим судьбы

безымянных евреев, послужило основой того, что позднее получило название “мемориальной культуры”» [17, с. 56].

Аналогичное А. Ассман говорит и в отношении фильма «Наши матери, наши отцы», который также был направлен на то, чтобы дать возможность поколениям «детей и внуков» погрузиться в ужасы Второй мировой войны, приобщиться к преступлениям, совершенным их «дедами». Журнал *Spiegel* (2013) даже назвал этот кинопроект «новой рубежной вехой в истории немецкой мемориальной культуры» [Цит. по: 17, с. 33]. Этот же еженедельник обозначил и другие произведения искусства, оказавшие наибольшее влияние на становление и развитие послевоенной мемориальной культуры: книга О. Когона «Эсэсовское государство: система немецких концлагерей», книга Александра и Маргарет Митчерлих «Неспособность скорбеть», упоминаемый выше американский телесериал «Холокост», фильм «Список Шиндлера», книга Даниэля Гольдхагена «Добровольные пособники Гитлера», книга Й. Фридриха «Пожар». А. Ассман прибавляет к этому списку еще одно произведение – книгу Г. Грасса «Траектория краба», которая, по мнению исследователя, стала отправной точкой формирования новой эмоциональной основы европейской культуры воспоминаний: «Немецкое общество с особой эмоциональностью пережило возвратный прилив воспоминаний. В многочисленных фотодокументах, репортажах, книгах и кинофильмах, интервью и архивных материалах, которые воспринимались публикой с большим вниманием и сочувствием, СМИ обратились к таким темам, как бегство и принудительные депортации из бывших восточных провинций Германии, ковровые бомбежки немецких городов, массовые изнасилования немецких женщин в конце войны» [5, с. 205].

М. Хирш, автор знаменитой работы «Поколение постпамяти. Письмо и визуальная культура после Холокоста», осмысляет мемориальную художественную культуру как ключевую форму бытования и проявления постпамяти. Под постпамятью она понимает такие коллективные

воспоминания о трагических, травматических событиях, которые «принадлежат другому поколению и даже другой местности или стране» [208], т. е. темпорально или территориально отделены от субъектов воспоминаний. Постпамять основана на механизмах мемориальной солидарности и эмпатии, которые наиболее эффективно формируются и транслируются посредством художественных образов, передающих универсальным языком искусства ужасы прошедших событий, заполняющих пробелы в знаниях о трагедиях прошлого.

«Места памяти»

В привычном представлении медиум – это некий субъект, реализующий посреднические функции. Иными словами, медиум – это личность. В контексте мемориальной культуры функции трансляции ценностного содержания мемориального нарратива могут выполнять и мемориальные объекты, визуализирующие ключевые установки государственной или локально-субкультурной (например, памятники, посвященные ветеранам войны в Афганистане, которая до сих пор не включена в актуальную государственную мемориальную повестку) мемориальной политики и служащие в дальнейшем поводом для официальных коммеморативных практик.

Это понятие, введенное в актуальную гуманитарную риторику П. Нора, охватывает «всякое значимое единство, материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени превратили в символический элемент наследия памяти некоторой общности» [134, с. 26]. По мнению французского исследователя, места памяти, как и вся мемориальная культура в целом (в риторике П. Нора – «коммеморативная нация» или «коммеморативное сознание») являются порождением глубокого кризиса памяти: «Места памяти рождаются и живут благодаря чувству, что спонтанной памяти нет, а значит – нужно создавать архивы, нужно отмечать годовщины, организовывать празднования, произносить надгробные речи,

нотариально заверять акты, потому что такие операции не являются естественными» [134, с. 26].

П. Нора, как это следует из определения, трактовал места памяти достаточно широко, но не всегда конкретно. Поэтому можно сказать, что в его интерпретации под это понятие попадают все формы мемориальной активности, включая все формы исторического познания прошлого (учебники истории, архивы, исторические научные сообщества, так называемые «великие события» и даже юридическая литература, своды законов и пр.).

В контексте нашей работы мы используем понятие «места памяти» несколько уже, чем это делал сам автор, относя к ним памятники (мемориальную скульптуру), мемориальные комплексы, архитектурные сооружения, связанные со значимыми событиями прошлого.

Следуя логике французского историка, можно говорить о двух наиболее общих категориях памятников – доминирующих и доминируемых (рецессивных). Доминирующие памятники несут на себе следы пафоса и официоза, они масштабны и притягательны для большого количества людей, располагаются «на возвышении, обычно обдают холодом и торжественностью официальных церемоний» [134, с. 47–48]. Такие памятники являются конечным пунктом официальных коммемораций – парадов, шествий и пр. Рецессивные памятники П. Нора называл «местами-убежищами», «святылищами спонтанной преданности и безмолвных паломничеств», «живым сердцем памяти». Они подразумевают приватное, интимное обращение, апеллирующее к локальным мемориальным поводам.

Мемориальная деятельность

Мемориальная деятельность чрезвычайно разнообразна. В рамках данного параграфа мы не ставим перед собой задачу рассмотреть все ее возможные варианты, но лишь наиболее значимые и востребованные из них.

Официальные коммеморативные практики

Феномен коммеморации сегодня является равно популярным в научной среде ученых-гуманитариев (как предмет исследования), в сфере культурной политики (как инструмент политики памяти), в пространстве повседневности (как праздничные события).

Ф. Арьес в работе «Время истории», анализируя причины появления коммемораций в конце позапрошлого столетия, связывал их с процессом «утраты присутствия прошлого, его непосредственного ощущения в обществе, которое ранее чувствовало себя всецело погруженным в живую традицию. В эпоху политических революций, возникающих при более полном осознании реальности перемен, прошлое приходилось удерживать на критической дистанции. Пафос коммеморации был, таким образом, соединен в какой-то мере с потребностью вновь подтвердить связь с уходящим миром» [15, с. 44].

Похожие идеи высказывал и П. Нора в знаменитом труде «Франция-память», объясняя зарождение коммеморативной деятельности (а позже и коммеморативной нации) ослаблением значения традиции как инструмента трансляции социального опыта [134].

Об этом же говорил и Ж.-Ш. Шурек: «Можно с уверенностью сказать, что основой этого процесса является разрыв с традиционными типами сообщения о прошлом: семейная и локальная связь, в рамках которой прошлое передавалось устно представителями поколений-свидетелей, живших под одной крышей, сменилась его сокращенной передачей, в которой преобладали как приобретенные знания, так и различные области производства памяти, поскольку речь идет действительно о производстве» [223].

Что касается сущности феномена коммеморации, он, равно как и феномен мемориальной культуры в целом, имеет достаточно размытые смысловые границы, существенно варьирующиеся в зависимости от методологической логики того или иного ученого.

Так, например, А. В. Святославский трактует коммеморацию как «сознательный социальный акт передачи определенной нравственно, эстетически, мировоззренчески, технологически ценной информации (или ее актуализации) путем увековечения определенных лиц и событий» [176, с. 92] в формате памятника. В основе коммеморативной деятельности лежат два процесса: процесс присвоения мемориальной функции уже существующему объекту в силу его исторической или иной значимости для группы; процесс генерации такого рода объекта с нуля.

С точки зрения П. Хаттона, коммеморация является процессом «идентификации и описания тех событий, идей или личностей прежнего времени, которые избираются посредниками власти для хранения в памяти» [207, с. 30].

А. Ассман определяла коммеморацию как «периодическое воспоминание, которое стабилизируется посредством годовщин; этим оно переносится на неограниченное количество носителей и на любую протяженность во времени. Спонтанность и ненадежность воспоминания приобретают в коммеморации внешние опоры в виде ритуалов и символов» [16, с. 252]. В зависимости от целей коммеморативного акта, он может носить околонучный (условно исторический) или мифосимволический характер. Первый решает задачи исторического воспоминания, обращения к фактам прошлого, второй – символического, ритуального обновления, стирающего границы между прошлым и настоящим.

М. Л. Шуб под коммеморацией понимает «совокупность публичных коллективных практик, направленных на формирование ценностей и моделей поведения через ритуально оформленное удержание и воспроизведение (повторение) в актуальной культуре значимых для группы, символически выраженных представлений о прошлом» [221, с. 74]. Исследователь также отдельно проговаривает значимые черты коммеморации, среди которых – коллективный характер, публичность и не нашедшая отражения собственно в определении институциональность (целенаправленная организованность).

Мы же под коммеморацией предлагаем понимать совокупность официально регламентированных, коллективных, публично ориентированных, сценарно подкрепленных форм мемориализации прошлого, транслирующих ценностно-нормативное содержание мемориальной культуры. На наш взгляд, сущностными признаками коммеморации являются:

- публичный характер, т. е. открытый, демонстративный характер мемориальной активности; вовлечение в нее значительных по составу социальных групп акторов;

- коллективный характер, т. е. отражение в коммеморативных актах ценностных установок социальной группы, а не отдельных лиц;

- сценарность, т. е. наличие определенного сценария, алгоритма, последовательности действий, лежащих в основе коммеморативных практик;

- репрезентативность, т. е. отражение в коммеморативных актах ценностно-нормативного содержания мемориальной культуры общества.

Вслед за М. Л. Шуб мы выделили три основных подхода к интерпретации коммеморации – функциональный, морфологический и синтетический (системный). В рамках первого подхода исследователи акцентируют внимание на задачах, выполняемых в ходе коммеморативных актов. А. Мегилл, например, говорил по этому поводу, что «коммеморация возникает в настоящем из желания сообщества подтвердить чувство своего единства и общности, упрочивая связи внутри сообщества через разделяемое его членами отношение к прошлым событиям, или, более точно, через разделяемое отношение к репрезентации прошлых событий... Коммеморация – это способ скрепления сообщества, сообщества коммемораторов» [121, с. 116].

Морфологический подход объединяет тех ученых, которые рассматривают различные виды коммеморативных актов (парады, памятные даты, наименования улиц и пр.). Пожалуй, это наиболее распространенный исследовательский ракурс, нашедший отражение в трудах таких

исследователей, как Э. Хобсбаум, П. Нора, А. Ассман, И. Савельева, А. Полетаев и др.

Синтетический подход позволяет суммировать методолого-содержательные преимущества обоих подходов и рассмотреть коммеморацию как сложное единство разнообразия форм мемориальной деятельности, ориентированных на решение разнообразных социокультурных задач.

Стихийные коммеморации

В отличие от «обычной» *стихийная коммеморация* не регламентируется властными или иными социальными институтами, являясь результатом «народного» волеизъявления.

В современной риторике *memorystudies* наряду с понятием стихийной коммеморации в качестве синонима используется понятие стихийной мемориализации, под которой понимается «практика создания спонтанных коллективных мемориалов» [182, с. 68]. На наш взгляд, феномен стихийной коммеморации содержательно и типологически является существенно более объемным и включающим в себя в том числе различные формы коллективной мемориальной активности, но не только их.

Типологически стихийные коммеморации могут быть представлены тремя крупными группами-типами, отличающимися по субъекту – инициатору коммеморативного действия:

1) «коммеморация локальной инициативы»: такие стихийные коммеморации возникают благодаря усилиям отдельной личности или небольшой группы лиц, по той или иной причине заинтересованных в сохранении памяти о человеке, группе людей или событии (например, создание придорожных кенотафов на месте автокатастроф, создание аккаунта умершего человека на «виртуальном кладбище», разного рода бытовые мемориальные практики, связанные с поминовением умерших);

2) «коммеморация коллективной инициативы»: такого рода коммеморативные практики создаются усилиями определенной группы,

стремящейся к мемориализации человека или события (например, мемориал «Немцов мост» в Москве, созданный на месте убийства Б. Немцова);

3) «коммеморация общесоциальной инициативы»: в данном случае субъект стихийной коммеморации трудно выделить, им является «народ» в целом (как правило, такие коммеморации иницируются по случаю массовой трагедии, например, после пожара в пермском клубе «Хромая лошадь»).

П.-Ж. Маргри и К. Санчез-Карретеро выделяют в качестве субъектов стихийных коммемораций «группы людей, воображаемые сообщества и отдельных личностей», которые «превращают скорбь в действие путем создания импровизированных и временных мемориалов с целью изменения или улучшения конкретной ситуации» [288, с. 2].

Мы не стали включать в перечень субъектов коммеморативного действия воображаемые сообщества, т. е. разного рода сетевые образования, поскольку полагаем, что не они, а конкретные люди, стоящие за ними, выступают в роли инициаторов акта поминовения вне зависимости от того, где они дислоцируются и с какой платформы исходит инициатива – реальной или виртуальной.

Также, в отличие от П.-Ж. Маргри и К. Санчез-Карретеро, мы полагаем, что стихийная коммеморация не всегда (хотя, действительно, часто) результируется созданием мемориала в традиционном понимании этого слова. Однако, безусловно, стихийные коммеморации подразумевают опредмечивание скорби в формате каких-либо материальных носителей.

В этом смысле стихийная коммеморация ближе к тому, что П. Нора называл местами памяти, понимая под ними «всякое значимое единство, материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени превратили в символический элемент наследия памяти некоторой общности» [134, с. 79].

Дж. Сантино выделяет два атрибута спонтанных коммемораций – мемориальность (стремление к поминовению, к сохранению памяти о какой-либо личности или событии) и перформативность (наличие в

коммеморативном акте интенции к публичному высказыванию, к коммуникативному действию, адресованному государству, властям, жертвам, «просто людям») [296, с. 1].

Как отмечает А. Соколова, опираясь на проведенное ей исследование стихийной мемориализации на примере кейса ярославского хоккейного клуба «Локомотив», «составив типологию российских спонтанных мемориалов, мы приходим к выводу, что российская традиция имеет специфические черты, существенно отличающие ее от западной... в российской традиции перформативное высказывание, которое вкладывается людьми в спонтанный мемориал, выражается не в содержании мемориала (в текстах и изображениях), как это происходит в Европе и США, а в самом факте создания мемориала. Чем более социально несправедливой кажется участникам практики смерть людей или реакция органов власти на произошедшую трагедию, тем более вероятно появление мемориала. Таким образом, в российской мемориальной традиции перформативная сторона спонтанной обрядности реализуется преимущественно не через вербальный или визуальный код, а через акциональный» [182, с. 70–71].

Мемориальный туризм

В 1946 г. в Цюрихе У. Черчилль произнес свою знаменитую речь, основной пафос которой сводился к призыву провести жирную черту под ужасами недавнего прошлого и начать общеевропейскую жизнь заново, простив виновных и отдав дань памяти погибшим: «Мы должны повернуться спиной к ужасам прошлого. Мы должны глядеть в будущее. Мы не можем позволить себе пустить в грядущее ненависть и месть, порожденные ранами прошлого. Если Европу суждено спасти от бесконечных бедствий и полного уничтожения, то в основу спасения должен лечь акт веры в семью европейских народов и акт забвения всех преступлений и ошибок прошлого» [271, с. 200].

Однако, как показала вся последующая история, призыв У. Черчиля не был услышан «семьей европейских народов». Напротив, в качестве способа обращения с прошлым была выбрана стратегия культивирования вины и воспроизведения травматичных переживаний в различных форматах – от инициирования соответствующих тематических дискуссий профессиональными историками до материализации памяти о страшных преступлениях XX столетия (связанных не только с ужасами Холокоста, но охватывающих более широкий круг событий, например, геноциды в Армении и Уганде).

Создание «мест памяти» совершенных преступлений (музеефикация мест трагедий, открытие отдельных памятников, мемориальных комплексов, музеев, выставок, посвященных трагическим событиям, создание организованных захоронений и пр.) породило новые формы мемориальной деятельности, в частности – мемориальный туризм.

Мемориальный туризм нередко именуется «черным туризмом», или «танатотуризмом», или «скорбным туризмом». Сам термин «черный туризм» (в западной практике используется чаще, чем термин «мемориальный туризм») был введен Дж. Леноном и М. Фоли, которые определяли его как «явление, включающее в себя посещение таких мест, как места убийств и стихийных бедствий, смерти и человеческих катастроф» [287, с. 33].

По мысли Е. Коена, рост популярности мемориального туризма в современном обществе связан с кризисом идентичности и травматичным содержанием того исторического наследия, которое оно получило от предков [272, с. 197].

Н. Дрвенкар выделила следующие наиболее востребованные причины популярности мемориального туризма (причины сформулированы дословно авторскому варианту):

– понимание времени – стремление к воссозданию исторического контекста, приведшего к трагедии или катастрофе;

– романтизм – стремление к идентификации с жертвами, воинами, героями, мужественно сражавшимися за «правое дело» и/или достойно принявшими смерть;

– варварство – стремление убедиться в том, что, несмотря на преступления, добро побеждает зло;

– национальная идентичность – потребность в подтверждении чувства ненеправильности жертв («даже если мы страдали, мы все равно в конце концов победили»);

– национальная сегрегация – стремление к получению сведений о жестоком обращении правящего меньшинства с подчиненным ему населением;

– мистические переживания – получение ощущений связи с трансцендентными силами;

– духовные переживания – потребность в обновлении нравственного опыта, духовной работе над собой [275, с.66].

К. Б. Костин и Н. Ли также сформулировали причины популярности мемориального туризма.

1. Любопытство. Ф. Стоун и Р. Шарпли полагали, что смерть – это самая неизведанная сфера человеческого бытия, притягивающая людей во все времена своей непознанностью и таинственностью, связью с мистикой, с миром иррационального [273, с. 12].

2. Поиск новизны. Современный человек в целом и современный турист в частности испытывают колоссальные перегрузки предложения, находятся в состоянии потребительского пресыщения. Не случайно в последние десятилетия в структуре «обычного» туризма выделился так называемый туризм специальных интересов, а в его рамках – туризм впечатлений. К этой категории туристических услуг и относится мемориальный туризм, позволяющий обновить собственный перцептивный опыт, испытать свежие ощущения, погрузиться в новые эмоциональные обстоятельства.

3. Память. Мемориальный туризм позволяет удовлетворить одну из архитектурных потребностей человека в обеспечении темпоральной непрерывности, связи между настоящим и прошлым, между ныне живущими и их предками. По мысли А. Ассман, «крестоносцы, отвоевывавшие Святую землю у мусульман, паломники, идущие поклониться мощам своих святых, туристы, фотографирующиеся на фоне пирамиды Хеопса или мавзолея Тадж-Махал, и, наконец, группы израильских юношей и девушек, которые, приезжая в Аушвиц, накидывают на себя полотнище государственного флага, как бы удостоверяя собственную идентичность, – все они исходят из того, что определенное место является зоной контакта между настоящим и прошлым, что это место открывает таинственный доступ к ушедшему миру. У Павсания упоминаются места, где якобы можно было спуститься в преисподнюю. Одиссей получает от Кирки точное указание места, где он может спуститься в царство мертвых. Такие места связывают пространство и время, настоящее и прошлое» [16, с. 237].

4. Культурное наследие. Многие объекты мемориального туризма обладают историко-культурной ценностью. Поэтому туристы, «имеющие прямое или косвенное отношение к событиям, которым посвящены достопримечательности, посещают их, потому как отождествляют эти достопримечательности с частью их собственного наследия» [273, с. 11].

5. Медийная пропаганда. Средства массовой информации нередко не просто информируют о произошедшей трагедии, но и создают ажиотаж вокруг смертельных информационных поводов, подогревая к ним интерес общественности и превращая места катастроф, массовых жертв, гибели знаменитостей в точки притяжения мемориальных туристов.

6. Эмоции. Пожалуй, наиболее точно суть эмоциональной составляющей мемориального туризма сформулировала А. Ассман в работе «Длинная тень прошлого»: «Помимо информации, которую предоставляют музеи и архивы (содержательно не всегда связанные с территорией своего расположения), от места исторического события, где происходило массовое

уничтожение людей, ожидается особое эмоциональное воздействие. Это отвечает, как мы уже видели, древней готовности паломников или людей, путешествующих с образовательными целями, подкрепить свои исторические знания живыми субъективными впечатлениями. Чувственная конкретика и аффективный колорит призваны углубить чисто когнитивное восприятие минувших событий, превращая его в личный опыт» [16, с. 243].

А. В. Ситон на основе указанных выше мотивов обращения к мемориальному туризму определил наиболее распространенные типы мемориальных путешествий:

- путешествие, мотивированное наблюдением смерти, например, публичной казни;
- путешествие в места, возникшие в результате трагических событий (например, Освенцим);
- путешествие к местам пленения, массовым захоронениям, отдельным могилам и памятникам;
- путешествие к повторяющимся событиям;
- путешествие в места, где есть свидетельства о погибших, например, музеи [297, с. 236].

Ф. Стоун предложил до сих пор наиболее востребованную классификацию объектов мемориального («черного») туризма:

- Dark fun factory – «темная» индустрия развлечений;
- Darkexhibitions – «темные» выставки;
- Darkdungeons – «темные» тюрьмы;
- Dark resting places – кладбища и отдельные захоронения;
- Darkshrines – «темные» святыни (места поклонения);
- Darkconflictsites – «темные» места вооруженных конфликтов;
- Genocidetourism – туризм к памятникам геноцида (концентрационные лагеря, захоронения жертв геноцида и пр.) [273, с. 7].

А. Ассман, в работах которой тема мемориального туризма играет очень большую роль, сформулировала специфику объектов мемориального паломничества, назвав их «травматическими местами».

1. «Травматические места обладают особой “антеической магией”»: они позволяют ощутить энергию непосредственного соприкосновения с аутентичным местом разворачивания исторических событий, интегрировать место катастрофы в личный опыт переживания мира.

2. «Травматические места одновременно аутентичны и инсценированы»: они подвергаются осознанной и необходимой музеефикации (реконструкции, сконструированности), основанной одновременно на аутентичности (подлинных следах страшных событий) и на ее разрушении, которая неизбежна просто в силу того, что такого рода события остались в прошлом – и на предметном, и на эмоциональном уровне.

В качестве иллюстрации подобного свойства травматичных мест А. Ассман приводит цитату из воспоминаний Р. Клюгер, узницы концентрационного лагеря Дахау: «Однажды я посетила Дахау, поскольку этого захотели мои американские друзья... Там все было чисто, ухожено, и требовалось гораздо больше фантазии, чем это бывает у обычных людей, чтобы представить себе, что здесь происходило сорок лет тому назад. Камни, доски, бараки, плац для построения. Древесина пахнет свежо и терпко, по просторному плацу разгуливает ветерок, а бараки выглядят прямо-таки гостеприимно. Что тут может прийти в голову, какие ассоциации? Скорее туристический кемпинг, нежели мучения и пытки» [16, с. 244].

3. «Травматическое место является палимпсестом»: это точка пересечения, наложения, переплетения различных нарративов – биографических, историко-событийных, темпоральных, эмоциональных, ценностных и пр.

4. «Сверхдетерминированность и мультиперспективность травматического места»: оно приобретает различные оценочные и функциональные параметры в системах координат разных людей, по-разному

связанных с травматическими местами и включенных в травматическое событие с разной степенью интенсивности и с различных перспектив.

А. Ассман выделила несколько групп «потребителей» травматических мест:

– непосредственные участники травматических событий, для которых травматические места служат источником драматического опыта, свидетелями пережитых страданий;

– родственники погибших участников травматических событий, для которых такого рода места являются местом гибели родных людей;

– туристы, не имеющие личных связей с травматическим местом, воспринимающие его как мемориальный объект;

– представители религиозных или политических групп, совершающие паломничества к местам мученической смерти своих выдающихся представителей;

– главы государств, воспринимающие травматические места как арену для собственных публичных заявлений;

– историки, изучающие травматическое место как исследовательский объект [16, с. 245–246].

Кибермемориализация

Уже более полувека человечество живет в мире симулякров – псевдовещей и псевдоявлений, существующих в формате виртуальных прототипов. Интернет удвоил предметную среду, клонировав ее в пространстве Мировой паутины. То, что еще несколько десятилетий назад существовало исключительно в границах осязаемой реальности, сегодня (особенно в условиях пандемии и тотальной изоляции) прочно обосновалось в многообразии он- и офлайн-ов.

Феномен мемориальной культуры не стал исключением. Оставив за рамками научного повествования этические аспекты вопроса, отметим, что современная сфера мемориальных практик использует интернет-возможности столь же активно, как раньше использовала ресурсы личных

коммуникаций. Группы виртуального траура, онлайн-скорбь, спонтанные интернет-мемориалы, мемориальные блоги, объявления о похоронах в социальных сетях, лайки под информацией о смерти человека – все эти и многие другие явления мемориальной культуры, ставшие неотъемлемой частью нашей жизни, нуждаются в осмыслении, интерпретации, культурологической оценке.

Под кибермемориализацией мы понимаем все виды и формы мемориальной деятельности, реализуемой в пространстве Интернета. Данное понятие, на наш взгляд, включает не только «онлайн-траур», т. е. виртуальные практики поминовения умерших, но и иные варианты мемориальной активности (например, отмечание памятных дат, онлайн-деятельность поисковых отрядов и пр.).

Структурно кибермеморализация представляет собой достаточно разнообразное явление. Так, на наш взгляд, к кибермемориальной деятельности можно отнести:

- 1) виртуальные кладбища;
- 2) специализированные страницы в социальных сетях или отдельные сайты, посвященные памяти погибшего человека;
- 3) онлайн-коммеморации (интернет-ресурсы, посвященные памятным датам, мемориальным праздникам, мемориальному неймингу, т. е. присвоению имени улицам, городам и пр.);
- 4) дискуссионные мемориальные площадки (ресурсы, посвященные публичному обсуждению различных мемориальных проблем, поиску мест захоронений воинов, родственников погибших и пр.);
- 5) «мертвые страницы» – аккаунты в социальных сетях, созданные умершим человеком, служащие площадкой для публичного выражения скорби.

В рамках данной работы мы не ставим перед собой задачу проанализировать все вышеперечисленные виды кибермемориальной

деятельности. Нам важно проследить историографию вопроса, т. е. очертить круг актуальных исследований, посвященных анализируемой проблематике.

Почти 20 лет назад немецкие политологи и социологи Э. Мэйер и К. Леггеви провели исследование превращения личных воспоминаний о трагедии 11 сентября 2001 г. в коллективную киберпамять [290]. Они пришли к выводу о том, что «Интернет в качестве интерактивного средства с его потенциалом массовой коммуникации превратился в важное виртуальное пространство памяти, где сходятся приватное и публичное, близкое и дальнее, локальное и глобальное. Новыми при этом оказываются прежде всего те формы, благодаря которым конституируются воспоминания и память» [290, с. 291].

Одним из самых известных трудов, посвященных онлайн-мемориализации, является исследование Дж. Р. Брубейкера, Дж. Р. Найес и П. Дауриша «За пределами могилы: Facebook как новое пространство темы смерти и траура» – о коммуникации, разворачивающейся на страницах умерших пользователей социальной сети Facebook. В качестве базового исследовательского метода авторами был выбран метод глубинного интервью родственников умерших людей. Основной вывод, к которому пришли ученые, заключается в обосновании особого мемориального статуса социальной сети, представляющей особым пространством публичного траура, отличающегося от «обычного» траура своим пространственным, временным и социальным охватом: «Вместо того чтобы рассматривать онлайн-практики как нарушение традиционных практик скорби и мемориализации, мы рассматриваем их как новые места, в которых происходит публичное оплакивание» [268, с. 1].

Б. Кэрролл и К. Ландри также анализировали профили умерших людей в социальной сети *MySpace*. Авторы разделили мемориальный контент на несколько групп в зависимости от его содержания:

- выражение скорби в связи со смертью человека;
- обращение к умершему человеку за помощью;

- констатация положительных качеств умершего, его неповторимости;
- рассказ о жизни умершего, основных этапах биографии;
- анализ ценностных ориентаций умершего человека, дорогих ему вещей и людей, размышление о роли религии в его жизни и пр.

Главный вывод, к которому приходят авторы, заключается в том, что смерть приобрела параметры публичного и общедоступного явления, реакция на которое может быть выражена в независимости от расстояния и времени. Кроме того, «мемориальные страницы в Интернете – это живые, иногда конкурирующие документы, которые выполняют различные функции для разных людей, большинство из них претендуют на некоторую цепочку ассоциаций с умершими» [270, с. 342]. Смерть физическая в условиях виртуальной мемориализации не означает жизнь социальную: «Онлайновые “я” людей сохраняются после смерти тела, и эти сохранившиеся цифровые личности управляются другими людьми. Эти новые формы сохранения являются динамичными, поэтому они существенно отличаются от надгробий, эпитафий, памятников и урн» [270, с. 348].

Э. Виллинс и П. Ферруччи также изучали специфику виртуальной мемориализации – записи на стенах персональных страниц умерших людей, некогда зарегистрированных в социальной сети *Facebook* [4]. Исследователи пришли к выводу о том, что основная цель этой односторонней коммуникации заключается в поддержании иллюзии жизни, в отказе принимать факт смерти.

Безусловно, Интернет принципиально и качественно меняет и содержание коллективной памяти, и специфику мемориальной культуры. По словам Н. Гридера, автора известной работы «“Лица павших” и дематериализация военных мемориалов США», «Интернет может радикально изменить определение мемориалов, превратив их в “непрерывный процесс”, который зависит не столько от подразумеваемой вечности созданной физической среды, но и от совершенно иной вечности – вечности циркулирующей информации» [279, с. 266].

Подводя итог этой главе, отметим, что структуру мемориальной культуры сложно представить в виде простой линейной схемы, внутри которой определены четкие линии межевания между ее различными компонентами. Различные формы и направления мемориальной культуры в реальной практике своего бытования пересекаются друг с другом, образуя гибридные вариации, взаимообуславливающие и взаимовлияющие друг на друга.

В зависимости от угла зрения, под которым исследователь изучает мемориальную культуру, можно говорить о таких ее структурных компонентах, как:

- ядро (идейно-ценностное основание, совокупность представлений о прошлом, его оценок, ретроконтента и пр.) и периферия (деятельностное воплощение идейно-ценностных установок мемориальной культуры);

- мемориальный нарратив (концентрированное содержание мемориальной культуры; совокупность конвенциональных способов публичной текстовой презентации прошлого), официальные и неофициальные формы мемориальной деятельности;

- мемориальный нарратив, мемориальные акторы, мемориальные медиумы («места памяти», то есть материальные объекты, призванные увековечить память о значимых событиях и/или личностях прошлого; мемориальные музеи и выставки, то есть музейные комплексы, отдельные музеи, локальные выставочные проекты, ориентированные на сохранение памяти о значимом событии и/или личности путем музеефикации памятного места, здания, комплекса мемориальных предметов и пр.; мемориальное искусство, то есть комплекс произведений искусства, целенаправленно ориентированных на увековечивание памяти о личности, событии, эпохе, явлении художественными выразительными средствами) и мемориальная деятельность, к которой мы отнесли следующие направления:

- 1) официальные коммеморативные практики (совокупность официально регламентированных, коллективных, публично

ориентированных, сценарно подкрепленных форм мемориализации прошлого, транслирующих ценностно-нормативное содержание мемориальной культуры);

2) стихийные коммеморации (спонтанные, официально нерегламентированные, организуемые частной инициативой отдельных лиц или социальных групп формы поминовения, связанные, как правило, с трагическими событиями актуального прошлого);

3) мемориальный туризм (вид туризма, связанный с посещением организованных достопримечательностей и стихийно созданных мемориальных объектов – захоронений, музеев, мест сражений и массовой гибели людей и пр.);

4) кибермемориализация (все виды и формы мемориальной деятельности, реализуемой в пространстве Интернета).

Еще раз подчеркнем, что столь жесткое разграничение различных форм мемориальной культуры – не более чем аналитическая процедура, необходимая для более четкого представления векторов реализации мемориальной активности того или иного общества. На практике граница между ними более чем условна и проницаема, одни практики поминовения тесно связаны с другими как на уровне содержательного наполнения (например, мемориальный туризм и мемориальные музеи), так и на уровне способов бытования (например, официальные и спонтанные коммеморации).

Глава II. Культурная политика Чеченской Республики в сфере мемориальной культуры: смысловые истоки и актуальные тренды

2.1. Узлы памяти чеченского народа: анализ ключевых мемориальных нарративов⁴

Данная глава посвящена осмыслению ценностно-смыслового содержания мемориальной культуры и различным формам его официальной репрезентации (мемориальный нарратив, мемориальный нейминг и мемориальное искусство).

Основным источником формирования содержательного уровня мемориальной культуры, как мы говорили выше, является культурная память, то есть система коллективных, ценностно значимых воспоминаний, намеренно сохраняемых и транслируемых в мифо-символических формах. Содержание культурной памяти кристаллизуется в идеологических установках политической памяти («политика памяти») и растворяется в обыденно-повседневных практиках коммуникативной памяти. Поэтому, прежде чем говорить о конкретных формах мемориальной деятельности и направлениях мемориальной культуры, необходимо определиться с тем мемориальным контентом, который в этой деятельности объективируется, репрезентуя содержание культурной памяти.

М. Ротберг, Д. Саньял и М. Сильверман предложили такие наиболее значимые моменты коллективных воспоминаний обозначать «узлами памяти» [Цит. по: 43]. Они предлагают отказаться от понятия П. Нора «места памяти», традиционного для европейской мемориальной риторики, в силу его однозначности и ориентированности, прежде всего, на память, ограниченную рамками «наций-великанов», складывающихся в рамках

⁴ В тексте параграфа использованы фрагменты статей автора: Узлы памяти чеченского народа: анализ ключевых мемориальных нарративов. С. 23-31; Специфика культурной памяти чеченского народа: анализ событийно-мемориального контента. С. 40-46; Депортация и репатриация чеченского народа как «мемориальные узлы» национальной памяти. С. 40-46.

полиэтнических государств. В условиях же сложных, разновекторных, динамичных, диффузионных мемориальных процессов современного мира понятие «узлов памяти» становятся более эвристичным, открытым и гибким исследовательским инструментом.

Среди критериев, по которым то или иное историческое событие может считаться «мемориальным узлом», несколько.

Во-первых, существенное, определяющее значение для формирования коллективной, национальной идентичности.

Во-вторых, активная мемориализация в различных вариациях – от запечатления в мемориальной скульптуре и архитектуре до осмысления в литературно-художественных и научных текстах.

В-третьих, интегрированность события в актуальное событийное пространство, наличие его влияния на различные политические, социальные и иные процессы (так называемое «горячее воспоминание», по А. Ассман).

Определение такого рода узлов памяти может осуществляться различными способами. Мы выбрали метод глубинного интервью современных чеченцев, проживающих на территории Чечни. Более подробно о методике подготовки и реализации интервью и основных его результатах мы поговорим в следующей главе диссертации. Первые вопросы, которые были заданы респондентам, были сформулированы следующим образом: «Какие периоды в истории Чечни наиболее значимы и почему?» и «Как Вы думаете, память о каких событиях истории Чечни, прежде всего, необходимо сохранять и передавать из поколения в поколение?».

На основании полученных ответов мы выделили ключевые узлы памяти чеченского народа. В данном контексте стоит отметить два момента. Во-первых, обозначенные позиции участников исследования в целом носят предсказуемый характер, то есть фиксируют наиболее острые, переломные события чеченской истории. Во-вторых, в данном параграфе мы не будем раскрывать всю событийную канву каждого «узла», обозначив лишь

наиболее общие позиции по каждому из них, главным образом, в контексте их влияния на формирования национального самосознания и идентичности.

1. Принятие ислама.

Культуросозидательную роль ислама и причину интеграции связанных с его принятием событий в контент национальной памяти довольно четко и лаконично объяснил М. М. Керимов: «Ислам способствовал ликвидации духовнокультурной разобщенности множества родов, племен, сельских общин и формирования их в вайнахской народности. Он дал мощный духовно-нравственный импульс народным обычаям, традициям, этике, устному народному творчеству, этнической педагогике вайнахов» [92, с. 20].

Относительно начала исламизации чеченского народа в исторической среде единой точки зрения не сложилось до сих пор в силу отсутствия достоверных исторических доказательств протекания данного процесса. В контексте нашей работы этот вопрос представляется не первоочередным. Главная задача заключается в раскрытии идентификационного потенциала исламской религии в формировании и современном существовании чеченского этноса.

Данный потенциал практически во всех официальных документах современной Чеченской Республики оценивается чрезвычайно высоко. Более подробно мы раскроем этот аспект в следующем параграфе. Здесь же отметим, что в «Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики» (редакция 2021 года) со ссылкой на высказывания целого ряда авторитетных деятелей чеченской культуры и политики (А. Кадырова, Р. Кадырова, С. Межиева, Х. Кадырова и др.) приводятся аргументы в пользу значения ислама как значимой идентификационной основы культуры чеченского народа, как фактора национального единства, источника нравственных императивов, условия цивилизационного взаимопонимания и сотрудничества: «Традиционный ислам (суфизм) и традиционные духовные ценности – это те основы, на которых развивалась, крепла и держалась земля чеченская на

протяжении своей многовековой истории. Чеченский народ, пронизанный духом суфизма, только тогда справлялся с жизненными неурядицами, когда каждый человек осознавал, что он является членом единого организма, единого пространства, единого духа и что здесь, на земле, у него есть обязанности перед Отечеством и потомками» [66].

Многими исследователями чеченской истории (М. Вачагаевым, З. Ибрагимовой, С. Жемчураевой и др.) отмечается адаптационно-стабилизационная функция ислама, который наряду с национальными традициями, помогал в буквальном смысле выживать представителям чеченского народа в наиболее сложные для него исторические периоды (Кавказские войны, депортация 1944 года, чеченские кампании 90-х годов и др.). По словам американского исследователя чеченской идентичности М. Поль, «религия стала одним из важнейших факторов, способствовавших выживанию этноса в изгнании. Несмотря на рассеянность по огромной территории и ограничения, накладываемые спецрежимом, выходцы с Кавказа, особенно чеченцы, не только не потеряли свою веру, но и укрепили ее. В свою очередь, религия дала им силы, помогла сплотиться и сохранить надежду перед лицом унижений и угроз, которым подвергалась их культура и само физическое существование» [146].

Об интегративной, консолидирующей роли ислама пишет и З. С. Исакиева: «По мере налаживания жизни в ссылке укреплялась земляческая и родовая связь, а религия играла, в свою очередь, главную духовную роль, что в целом создавало условия для тесного контакта между чеченцами и ингушами и оказания взаимной помощи и покровительства в поиске работы и жилья. Все это укрепляло национальную идентичность и сохраняло историческую память» [86, с. 124].

Столь значимая роль ислама и в структуре традиционной чеченской культуры и как узла культурной памяти объясняется, прежде всего, его глубокой укорененностью в национальной идентичности чеченского народа. По словам А. В. Малашенко, эта укорененность обеспечена на трех уровнях:

мировоззренческом (ислам как источник представлений о жизни, ее смысле, векторе, источнике, нравственных ориентирах и пр.); деятельностном (ислам как источник религиозных обрядов, ритуалов, норм повседневной активности); социальном (ислам как условие социализации и инкультурации подрастающего поколения, как средство приобщение любого мусульманина к ценностным истокам национальной культуры) [117, с. 62].

2. Кавказские войны.

Под Кавказскими войнами традиционно имеют в виду целую серию военных действий русской армии в период с 1817 по 1864 гг., направленных на присоединение к Российской империи народов Северного Кавказа.

Значимость Кавказских войн, по словам М. Ваचाгаева, определяется тем, что они стали отправной точкой векового противостояния чеченского народа и России, последствия которого ощущаются и сегодня [46, с 236]. Действительно, Кавказские войны во многом изменили вектор существования кавказских народов, в том числе и чеченцев, выступив катализатором, с одной стороны, достаточно драматичного слома традиционного уклада: «разрушение единого этнического образования – общности территории, культуры, экономических отношений и т.д. И, конечно же, размывание традиционного образа жизни и включение в жесткую государственно-административную систему» [61, с 151].

С другой же стороны, именно Кавказские войны стали причиной модернизационных процессов в сфере управления и социального регулирования, приобщения народов Кавказа к передовым экономическим технологиям, интеграции в общероссийский рынок. М. Блиев полагает, что именно перманентное участие в военных действиях на протяжении десятилетий высвободило тот пассионарный потенциал, который копился у кавказских народов на протяжении тысячелетий [27, с 583].

До сих пор в отечественной исторической литературе военные события XIX столетия рассматриваются весьма неоднозначно и в очень сильной зависимости от национальной принадлежности авторов. Однако бесспорным

считается тот факт, что Кавказские войны послужили источником существенной трансформации идентичности народов Кавказа. По словам Э. Н. Дармиловой, они обнажили и обострили внутренние противоречия, существовавшие в социальном укладе горцев, которые в конечном итоге вылились в противостояние различных групп – тех, кто покинул Родину и остался; тех, принял российскую власть и продолжал борьбу; тех, что выбрал равнины для нового дома и ушел в горы; тех, кто приспособился к новым условиям жизни и остался верен традициям [61, с. 151].

Однако эти противостояния, как отмечает историк (и многие другие ее коллеги), не остались в прошлом, а в трансформированном виде стали значимой частью современной идентичности народов Кавказа: именно с ними связываются многие современные проблемы, именно в них находят истоки современных конфликтов на Кавказе, главной причиной которых является борьба против колониаторской политики России: «Кавказская война и последовавшие за ней многочисленные несправедливости «оживляют» национальный вопрос и «держат» народы в постоянном напряжении... Накопившиеся обиды требуют выхода и находят его, проявляясь по-разному. О чем ярко свидетельствует современная российская история. Наложение многочисленных национальных несправедливостей, ошибок и просчетов на нынешние социально-политические, экономические трансформации послужило катализатором реанимирования «национального вопроса» во всех сферах общественной жизни, что и привело к бурному росту национальных движений» [61, с. 154]. В русле данного утверждения высказывается и З. Ибрагимова, говоря о том, что «эта война, как и любая другая, помимо непосредственных трагических итогов, имела и более отдалённые негативные следствия – она на многие годы породила отчуждённость и недоверие между бывшими противниками» [72, с. 109].

3. Депортация (1944 г.) и репатриация (1957 г.) чеченского народа.

Депортация чеченцев и ингушей, предпринятая советской властью в 1944 году, является одним из самых трагических событий чеченской

истории. Общеизвестен исторический факт, согласно которому 31 января 1944 года Государственный комитет обороны принял постановление за номером 5037 «О выселении чеченцев и ингушей в Казахскую и Киргизскую ССР». Согласно тому же постановлению, депортации подвергались около 400 тысяч чеченцев и 90 тысяч ингушей [128, с. 145].

Указ Президиума Верховного совета СССР от 7 марта 1944 года объяснял необходимость депортации изменой Родине со стороны представителей чеченского и ингушского народа во время действия фашистских войск на Кавказе: «В связи с тем, что... многие чеченцы и ингуши изменили Родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в отряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами в тылы Красной Армии, создавали по указке немцев вооружённые банды для борьбы против советской власти» [194].

Большинство современных исследователей (А. М. Бугаев, М. Вачагаев, В. Ф. Димаева, С. С. Цуцулаева, В. Шнирельман и др.) полагают указанную причину формальной и содержательно несостоятельной, а цифры «изменников Родины» (чеченцев и ингушей, сотрудничавших с немцами), которые служили обоснованием необходимости депортации, преувеличенными в разы. Кроме того, принцип коллективной ответственности нарушал все нормативно-законодательные акты (прежде всего, Конституцию СССР), имевшие юридическую силу в Советском Союзе. Коллективную точку зрения по данному вопросу сформулировал А. М. Бугаев: «Наш вывод, совпадающий с выводом большинства исследователей, однозначен – обвинение абсурдное по всем позициям, т.е. клеветническое от начала до конца, целиком и полностью направлено на обоснование сталинских преступных деяний» [35, с. 89].

Депортация чеченского народа 1944 года стала трагическим, катастрофическим событием, поставившим на грань исчезновения целый этнос: «Принудительное выселение, лишения, голод, болезни, регистрация в спецкомендатурах, исковерканные судьбы, трудовая и общественная

деятельность бережно хранится в памяти бывших спецпереселенцев и будет передаваться из поколения в поколение» [86, с 120].

Катастрофичность депортации усиливалась и тем, что она подразумевала уничтожение самого статуса чеченцев и ингушей как самостоятельных народов, предание забвению их культуры и стиранию из культурной памяти советского народа всего, что было с ними каким-либо образом связано: «Уничтожались редкие книги и архивы, записи фольклорных текстов, практически любая литература и периодические издания с упоминаниями чеченцев и ингушей, в горах взрывались средневековые башни, гробницы и святилища, с землей сравнивались кладбища, а надгробия разбивались и использовались для строительных работ, демонтировались все памятники чеченским и ингушским героям революции и Гражданской войны» [215, с. 114-115]. В срочном порядке были заменены все исконные топонимы. Темы, связанные с историей чеченцев и ингушей, оказались под запретом для изучения историками и другими гуманитариями.

В результате, по словам М. Яндиевой, оба народа превратились в фантомы [226, с. 88].

Однако и процессы репатриации и реабилитации ингушского и чеченского народов в 1957 году не смогли нивелировать глубину травматического опыта, пережитого ими в ходе депортации. Это связано, главным образом, с непродуманностью самого процесса возвращения чеченцев и ингушей на их исконные территории, которые к моменту их репатриации оказывались занятыми также переселенными сюда представителями других народов. Имелись и иные проблемы: «невозможностью занимать ключевые должностные посты в Чечено-Ингушской АССР, которые по заведенному в СССР порядку, как правило, доставались выдвиженцам центра, получавшим в Грозном лучшие квартиры. Чеченцев не удовлетворяли и ограничения на прописку в г. Грозном, запрет на восстановление ряда традиционных высокогорных районов,

искусственное поддержание низкого уровня образования у чеченской молодежи, в особенности сознательное блокирование ее профессиональной подготовки для работы в местной нефтегазовой промышленности, медленные темпы урбанизации (среди горожан чеченцы составляли лишь 25 %) и высокая безработица, заставлявшая чеченцев заниматься отходничеством («шабашить») за пределами республики» [215, с 166].

Трагический след депортации и последовавшей за ней спустя 13 лет репатриации чеченского народа, по мысли М. Вачагаева, до сих пор сохраняется в структуре национальной памяти и во многом определяет современные взаимоотношения чеченцев с официальной российской властью. Исследователь называет события 1944 года «вайнахским Холокостом», о котором «чеченцы и ингуши говорят всюду и всегда, даже события последних лет не смогли отодвинуть эту тему с первого плана» [45, с 173].

Стоит, однако, отметить, что на официальном, государственном уровне события 1944 года были публично признаны незаконными и антигуманными – сначала в рамках развенчания культа личности И. В. Сталина в 1956 году, затем в 1957 году, когда были принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР», а затем в 1991 году, в рамках Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». В Законе депортация была названа «незаконным и преступным» «геноцидом», а ее причины – «клеветническими нападка» [153, с. 74].

Столь массовое переселение представителей одного народа с традиционных мест обитания является историческим прецедентом. В «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицын писал по этому поводу: «Историки могут нас поправить, но средняя наша человеческая память не удержала, ни от XIX, ни от XVIII, ни от XVII века свидетельств массовой насильственной пересылки народов. Были колониальные покорения на океанских островах, в Африке, Азии, в Туркестане, победители приобретали власть над коренным

населением, но как-то не приходило в неразвитые головы колонизаторов разлучить это население с его исконной землей, с его прадедовскими домами» [183].

Относительно позитивным следствием депортации, совместно пережитой трагедии, тягот и лишений, неискоренимого чувства несправедливости стала национальная консолидация чеченцев и ингушей. По словам, Д. Кокорхаевой, «депортация усилила национальные чувства ингушского народа, очертив еще более жесткие границы этнической группы, которая в нормальной общественной среде была бы способна на подвижность, ситуативную изменчивость» [96, с. 135]. Эта мысль справедлива и в отношении чеченского народа. В продолжении ее В. Шнирельман указывает на то, что «в изгнании для чеченцев и ингушей заново открылось значение их традиционных институтов и народных обычаев; они начали возвращаться к полузабытой религии... Кроме того, для поддержания морального духа люди обращались к образам далёкого прошлого и народных героев. Предки представлялись теперь истинными аборигенами Кавказа, обитавшими там в течение тысячелетий. Все это помогаю людям верить в то, что возвращение на родину неотвратимо» [215, с. 117].

4. Великая Отечественная война.

Вопрос участия жителей Чечено-Ингушской АССР в Великой Отечественной войне непосредственным образом связан с вопросом относительно их депортации в феврале 1944, поскольку, во-первых, депортация во многом оправдывалась коллаборационистскими связями представителей чеченского и ингушского народов с фашистами, а, во-вторых, в 1944 году было предписано демобилизовать всех чеченцев и ингушей из рядов Красной армии и передать их в подчинение отделов спецпоселений НКВД Казахской ССР.

Однако, благодаря научным работам М. А. Абазатова, А. В. Больбуха, З. К. Джамбулатовой, М.А. Каратаевой, В. И. Филькина и многих других

историков огромный вклад чеченского народа в Великую Победу обрел статус научного обоснованного факта. Так, за годы войны на фронт было призвано в общей сложности около 50 тысяч чеченцев и ингушей, из них около 30 тысяч чеченцев [36, с. 273]; сорока из них было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1941 по 1945 годы «воины этих народов участвовали во всех крупнейших битвах и сражениях, подвиги солдат, сержантов и офицеров, удостоенных высоких наград, в том числе и звания Героя Советского Союза... Анализ литературы свидетельствует и о самоотверженности трудящихся в тылу врага, их участии в работе промышленности, сельского хозяйства и строительстве оборонительных сооружений и транспорта» [212, с. 104].

В специализированной исторической литературе, посвященной участию чеченского народа в ВОВ, подчеркивается несколько значимых моментов. Во-первых, системное участие чеченцев во всех военных и мобилизационных мероприятиях: «Трудовые мобилизации периода Великой Отечественной войны, охватывали все социальные категории и этнические группы населения Чечено-Ингушской АССР, а само их использование позволило концентрировать необходимое количество рабочих рук для реализации мероприятий, важнейших на тот или иной период времени. В свою очередь это сыграло значимую роль в сохранении устойчивости промышленной, сельскохозяйственной и социально-культурной сфер республики» [140, с. 261]. Во-вторых, несправедливость демобилизации чеченцев из Красной Армии и досрочное прекращение их военной службы в связи с депортацией в Казахстан.

В целом Великая Отечественная война является значимым узлом памяти чеченского народа, имеющим как позитивные (вклад в Победу, большое количество воинов-героев, получивших награды разной степени), так и трагические (демобилизация воинов, отсутствие до настоящего времени системных трудов, раскрывающих роль чеченцев в Войне) коннотации.

5. Чеченские (российско-чеченские) войны.

И первая, и вторая чеченские войны, имевшие место в недавнем прошлом, а потому отличающиеся особой остротой восприятия, называются и исследователями, и самими чеченцами самыми травмирующими событиями новейшей чеченской истории: «Чеченский кризис так или иначе коснулся каждой семьи, глубоко деформировав нравственные устои, политическую культуру и религиозные представления. За 15 лет выросло целое поколение под ракетно-бомбовыми ударами в условиях тотального произвола, голода и лишений» [185, с. 148].

В соответствие с идеями Е. Сокирянской [Цит. по: 125, с. 84], истоки государственного сепаратизма, которые по сути и послужили катализатором первой российско-чеченской войны 1994-1996 гг., следует искать в специфике национальной идентичности чеченцев, а точнее – в типе исторической памяти, названной ею «памятью об обидах». С. Меликова полагает, что такого рода память конкретизируется не только в «обиде» чеченского народа, связанной с давним противостоянием чеченцев и русского государства в ходе Кавказских войн в XIX веке, не только в депортации чеченского народа в 1944 году, но и в «обиде» более общего, мировоззренческого характера. К ним она относит, во-первых, идею «маршо» («свобода»). С точки зрения М. Гаммера, политическое подчинение чеченцев русской, затем советской, а затем и российской власти означало фактически утрату свободы, мужественности и даже национальной души [277, с. 6-7]. Во-вторых, устойчивое и справедливое недовольство чеченцев русским/российским правлением, во многом игнорировавшим этническую, религиозную, ментальную специфику региона [125, с. 87].

Трагическую значимость для чеченского народа обе чеченские войны приобрели не только в связи с их огромными смертельными и разрушительными последствиями. По мысли М. К. Осмаева, кроме человеческих жертв, экономической, социальной, эпидемиологической катастрофы, которые остались после обеих военных кампаний, страшный урон был нанесен собственно культурной памяти чеченского народа, его

идентичности. Перечисляя музеи, архивы и другие учреждения культуры, которые были уничтожены или разграблены в период с 1994 по 2000 годы, исследователь приходит к выводу о том, что «ущерб, нанесенный культурному наследию Чечни, выразился не только в уничтожении памятников культуры и истории, находящихся под опекой государства, но и в гибели культурно-исторических ценностей, архивных материалов, документов, находившихся в частных коллекциях и в личной собственности. Эти потери, к сожалению, невозможны. Особенность ситуации в Чечне заключается в тотальности уничтожения культурного наследия. Здесь гибло все, что связывало народ с прошлым, что свидетельствовало о его историческом прошлом» [141, с. 11].

З. В. Сикевич одним из важнейших последствий российско-чеченских войн считает «потерю национальной гордости» [178, с. 126]. Он приводит результаты исследования, направленного в том числе на выявление наиболее значимых для национальной идентичности исторических событий, одним из которых, по данным опроса чеченцев, являются российско-чеченские войны конца прошлого столетия. Исследователь отмечает знаковую особенность в оценке данного события. Респонденты, называя его трагические и даже постыдные последствия («военные действия Джохара Дудаева, в целом его правление, гибель молодых (вариант – невинных) людей, продажа людей и оружия, разрушение Грозного, вторжение Басаева в Дагестан, теракты в Буденновске и в Беслане, ваххабитское движение» [178, с. 126]), отмечали наряду с ними и положительные моменты – отмену контртеррористической операции, возрождение чеченского народа и восстановление его государственности в составе РФ, возвращение к мирной жизни.

Такую бинарность в оценке значимых событий прошлого (осознание события как трагического, травматичного для национальной судьбы чеченского народа и одновременная способность видеть в нем конструктивно-созидательный потенциал) можно назвать первой особенностью чеченской культурной памяти. Это в равной степени

относится не только к российско-чеченским войнам 1994-2000 годов, но и к другим историческим событиям, которые мы обозначили в качестве мемориальных узлов – и к Кавказским войнам (одновременный пример стойкости, мужества, отваги чеченцев, их стремления к свободе – и сокрушенного сопротивления, предательства, ущемления независимости), и к Великой Отечественной войне и депортации (наличие огромного количества примеров героического мужества чеченцев, проявленного в ходе войны, и их принудительная демобилизация и последовавшая за ней депортация, сфабрикованные обвинения в сотрудничестве с фашистами).

Приведем в качестве иллюстрации обозначенной выше мысли лишь один фрагмент ответа участника проводимого нами исследования, результаты которого легли в основу данного параграфа (орфография и пунктуация авторские): «Не смотря на всю противоречивость, период Советской власти: практически решена была проблема грамотности населения, развитие здравоохранения, образования, науки, выросла национальная интеллигенция. Рост городов со всей инфраструктурой, появление культуры городского жителя. Республика к 80 годам 20 века была одной из перспективных регионов Северного Кавказа».

В этом смысле можно говорить о том, что чеченская культурная память соединяет в себе два основных нарратива (выражаясь в терминах О. Б. Леонтьевой, сценария) – героизации (глорификации) и виктимизации: «Героизация... строится в данном случае как рассказ о великих событиях и славных свершениях, а память об этих событиях приобретает сакральный характер... Виктимизация прошлого – восприятие его как череды трагедий, мученичества и исторических обид» [104, с. 83].

Бинарность культурной памяти чеченского народа, по мнению О. Павловой, проявляется также и в том, что она, с одной стороны, аккумулирует в себе мощнейшие пласты традиционной культуры, связывающие поколения между собой и с их общим прошлым. Кроме того, само по себе прошлое (страны, семьи, этноса) является не «чужой страной»,

по Д. Лоуэнталу, а близкой и значимой темпоральной средой. И в этом смысле, по ее словам, «каждый чеченец – историк» [142, с. 41]. С другой стороны, такие ценностные основания культурной памяти, как свобода, борьба, стремление к независимости, в общенациональном плане актуализируют значимость будущего [142, с. 505-506].

Второй особенностью можно назвать доминирование в культурной памяти национального компонента над общероссийским. Это является вполне объяснимым в силу длительной истории государственной, этнического, культурного противостояния чеченского народа русскому, а затем советскому и российскому государству, непростой судьбы взаимодействия двух народов и др. Чеченская идентичность имеет ярко выраженный этнический характер, проявленный сильнее даже религиозного.

В качестве третьей особенности мы выделили преобладание военного (а точнее – военно-политического) мемориального нарратива, который проявился, прежде всего, в доминировании узлов памяти, связанных с войнами и военными кампаниями. По словам З. В. Сикевича, для чеченцев, участников проведенного им исследования, «ядром исторического процесса как в положительном, так и отрицательном контексте являются победоносные (или проигранные) войны, что, по всей вероятности, отражает не столько специфику исторического сознания, сколько содержание школьных учебников истории. События, отражающие культурные достижения, занимают второстепенное место. Для респондентов история прежде всего – политический процесс» [178, с. 128].

В работе «Память, история, забвение» П. Рикер указывал на то, что именно война является краеугольным камнем культурной памяти любого народа, выступая для одних – источником национальной гордости, для других – скорби: «Не существует исторической общности, которая была бы порождена чем-то иным, нежели так называемое изначальное отношение к войне...» [159, с. 120].

В качестве четвертой особенности можно отметить архаизацию и аксиологизацию прошлого, то есть, с одной стороны, стремление отодвинуть темпоральную границу национальной истории как можно дальше вглубь веков (вплоть до Античности, а иногда и дальше), архаизировать, «удревнить» этническое происхождение и культурные традиции чеченского народа. А, с другой стороны, восприятие этого архаического, предельно древнего прошлого как золотого века, ассоциируемого с временем истоков, свободы, независимости, культурного расцвета. Как справедливо указывает В. А. Шнирельман, «невозможность правдиво описывать события недавнего прошлого, связанные с Кавказской войной, сталинскими репрессиями и депортацией, заставляла чеченских и ингушских историков искать славные страницы истории в отдаленном прошлом. Это и стало сверхзадачей для их нового поколения, которое в противовес официальной версии истории, принижавшей их далеких предков и фактически оставлявшей их без национальных героев, пыталось создавать свои альтернативные версии прошлого, рисовавшие притягательный образ золотого века» [215, с. 157-158].

Пятая особенность – персонификация культурной памяти.

И результаты проведенного нами исследования, и результаты аналогичных научных изысканий (О. Павлова, З. Сикевич) позволяют говорить о том, что история для чеченцев связана не только и не столько с событийной конвой, сколько с движущей силой данных событий, с конкретными людьми – и героями, и антигероями, и простыми чеченцами, которые в той или иной степени были вовлечены в исторические события.

В заключении параграфа нам представляется важным пояснить две важных позиции.

Во-первых, выделяя и анализируя узлы памяти, мы коррелируем их с культурной памятью, а не с коммуникативной (хотя используем в том числе и результаты глубинного интервью, то есть апелляцию к личному мнению современных чеченцев), поскольку в данном случае речь идет не о

восприятию исторических событий респондентами, участниками которых они выступали непосредственно, а об их представлениях о национальной истории в целом.

Во-вторых, мы не сводим содержание культурной памяти исключительно к набору исторических событий, наиболее значимых для того или иного народа. Мы понимаем, что культурная память устроена гораздо сложнее и имеет многоуровневую структуру, включающую в себя разного рода мифо-символические, ценностно-нормативные, деятельностно-поведенческие конструкты. Однако в рамках нашей работы мы не ставили перед собой задачу досконального изучения культурной памяти чеченского народа, сосредоточив свое внимание на предметно-деятельностной форме ее объективации – мемориальной культуре. Поэтому в изучении культурной памяти мы ограничились лишь выявлением мемориальных узлов культурной памяти, оказывающих наибольшее влияние на актуальную систему ценностей, ментальные и поведенческие установки, формирующих картину мира и структуру национальной идентичности.

По мнению Л. П. Репиной, к которому мы полностью присоединяемся, «значение события проявляется в том, что оно стало основой, на которой коллективная память и воображение создали целый комплекс рассказов, легенд и символов. Соотнесение между собой события и его значения обычно происходит путем “привязки” этого события к сплетению многих последовательных и одномоментных событий с помощью определенных нарративных конструкций, или “режимов памяти”. Особо значимые события и герои прошлого образуют в исторической памяти систему взаимосвязанных культурно-исторических символов, отражающую доминирующие в обществе ценности и играющую важную роль в их воспроизводстве... Яркие исторические образы, разделяемые членами этой общности, исторические события, превращенные в значимые для ее представителей “места памяти”, становятся основой ее консолидации» [156, с. 11-12].

Собственно, исторические события как основания культурной памяти выполняют не только интеграционную функцию, но и функцию генетическую. По словам Й. Рюзена, они «объединяют ситуацию сегодняшнего дня именно с тем событием, на которое опираются люди для того, чтобы объяснить себе и живущим рядом другим, кто они, каков образ их жизни, как они понимают отличие от себя других» [169, с. 52].

На наш взгляд, наиболее точно и системно специфику культурной памяти и ее узловых моментов сформулировал С. М. Шахрайс в предисловии к работе И. Алироева и М. Сайдуллаева «Чеченцы. Кто они?»: «Важнейшая составляющая событий в Чеченской республике – трагическая судьба чеченцев. В прошлом веке – жестокая, более чем полувековая Кавказская война с ее огромными людскими потерями, а затем махаджирством (исходом) в Турцию и на Ближний Восток. В нынешнем – поголовная депортация в Северный Казахстан в 1944 году. Все это не могло не оставить глубоких шрамов в исторической памяти народа и не породить глубокого недоверия не только к центральной власти, но и к власти вообще. Возможность залечить шрамы открыло возвращение чеченцев на родину в 1957 году, но половинчатые, как всегда, решения государственных органов того времени оставили нам в наследство мину со взведенным взрывателем. И она взорвалась. Взорвалась тогда, когда союзное руководство в борьбе против нового демократического руководства России с Борисом Ельциным во главе стало разыгрывать карту автономий и попыталось выровнять их статус с союзными республиками [4, с. 3].

2.2. Государственная мемориальная политика Чеченской Республики: анализ актуальных стратегических направлений⁵

Мемориальная культура, как было показано в предыдущей главе, охватывает широкий спектр мемориальных явлений – и официально инициированных, включенных в государственные планы и программы, и возникающих спонтанно, по частной инициативе отдельных людей. В данном параграфе мы остановимся на осмыслении места и роли мемориальной культуры в структуре современной культурной политики на примере государственной культурной политики Чеченской республики.

Любая официальная «работа» с прошлым по своей сути может быть интерпретирована как символическая политика, то есть «публичная деятельность, связанная с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование» [118, с. 11]. Еще П. Бурдье указывал на то, что государство или правящие элиты в целях формирования у общества картины мира с заданными параметрами прибегают либо к реконструкции прошлого, либо к проектированию будущего, но в обоих случаях – в соответствии с потребностями настоящего [37, с. 79].

Практическим воплощением символической политики в сфере мемориальной культуры является политика памяти, понимаемая О. Ю. Малиновой как «деятельность государства и других акторов, направленная на утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование поддерживающих их культурной инфраструктуры, образовательной политики, а в некоторых случаях – еще и законодательного регулирования» [120, с. 291].

⁵ В тексте параграфа использованы фрагменты статей автора: Государственная мемориальная политика Чеченской Республики: анализ стратегических направлений. С. 55-61. Исторические условия формирования мемориальной политики в современной Чеченской Республике. С. 202-204.

Политика памяти представляет собой систему различных направлений, наиболее значимыми из которых являются историческая политика (использование государственных ресурсов с целью формирования исторических представлений населения посредством образовательных, медийных, законодательных проектов) и мемориальная политика (система государственных ресурсов, в том числе финансовых, правовых, административных, целью практического использования которых является формирование определенного образа прошлого и определение способов его репрезентации в пространстве актуальной культуры).

На основании нарративного анализа официальных документов в сфере политики памяти, реализуемых мемориальных проектов, мнений специалистов в сфере *memory studies* стоит констатировать, что мемориальная политика в современной России не может в полной мере быть охарактеризована как системная и продуманная: «Мемориальная политика в России во многом находится в начале своего пути» [123, с. 13]; «Можно ли говорить о том, что в современной России существует внятная государственная мемориальная политика? Положительный ответ на этот вопрос, погрешил бы против истины... Все, что, начиная с 1991 года, происходило в сфере политики памяти и забвения, происходило скорее стихийным образом» [60, с. 55].

На фоне процессов становления мемориальной политики России в целом интересным представляется анализ управленческих решений в сфере мемориальной культуры в отдельных субъектах Российской Федерации. В рамках данного параграфа мы рассмотрим мемориально-управленческий опыт Чеченской Республики и определим специфику данного сектора государственного регулирования.

Исходными условиями реализации мемориальной политики в Чечне являются:

1. Конструктивные условия:
 - 1.1. наличие самобытной национальной истории и культуры;

1.2. наличие богатого культурного наследия (памятники материального и нематериального наследия);

1.3. наличие живого, интегрированного в актуальные коммуникационные процессы, национального языка;

1.4. наличие инфраструктуры, обеспечивающей функционирование институтов памяти и охрану культурного наследия;

1.5. актуализация опыта созидательной деятельности, направленной на сохранение уникальной культуры чеченского народа (регулирование нормативно-правовой базы, строительство новых музеев, восстановление музейных фондов, восстановление памятников историко-культурного наследия) и необходимой «для развития культурной деятельности граждан и новых видов творчества, возрождения, развития и использования национального культурно-исторического наследия» [66].

2. Негативные условия (согласно «Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики» до 2035 года [184]):

2.1. малочисленность музейного фонда Чеченской Республики, утрата значительного объема музейных фондов в 90-е – начало 2000-х годов;

2.2. неудовлетворительное техническое состояние объектов культурного наследия;

2.3. реставрации, наносящие ущерб подлинности памятников;

2.4. угрозы физической утраты (разрушения) объектов наследия в связи с воздействием негативных природных и антропогенных факторов;

2.5. отсутствие налаженной системы организации и проведения государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия;

2.6. отсутствие эффективного опыта установления границ территории объектов культурного наследия и дальнейшей регистрации прав собственности на объект культурного наследия в Едином государственном реестре недвижимости.

Осмысление специфики мемориальной культуры Чеченской культуры осуществлялось нами на основе анализа следующих государственных документов:

1. Государственная программа Чеченской Республики «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» (Указ от 19 декабря 2013 года № 336), включающая подпрограммы и региональные проекты:

- подпрограмма 1 «Развитие культуры Чеченской Республики»;
- региональный проект «Культурная среда Чеченской Республики»;
- региональный проект «Творческие люди Чеченской Республики»;
- региональный проект «Цифровая культура Чеченской Республики».
- подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чеченской Республике»;
- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» в сфере культуры»;
- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» в сфере туризма»;
- подпрограмма 5 «Сохранение объектов культурного наследия Чеченской Республики»;
- подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» в сфере охраны объектов культурного наследия».

2. Концепция государственной национальной политики Чеченской Республики (редакции 2007 и 2016 годов);

3. Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года;

4. Единая Концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики (от 5 октября 2021 года № 177).

5. Положение о порядке наименования (переименования) улиц, площадей, скверов, парков, муниципальных учреждений и установления (демонтажа) памятников, бюстов, стел и мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном (от 21 сентября 2017 года № 15).

Главными принципами культурной политики Чеченской Республики в целом являются принципы системности и баланса, отражающиеся в «гармоничном сочетании творческих новаций на стыке разных культур и бережного отношения к национальным традициям, российскому классическому наследию» [184]. Баланс в данном случае проявляется в учете национальных и общероссийских интересов в процессе принятия управленческих решений, а также в сочетании новационного развития и бережного отношения к традициям и культурному наследию. Собственно, последний пункт и составляет основу мемориальной культуры, государственная реализация и поддержка которой в Чеченской Республике осуществляется в рамках следующих направлений.

1. Идеино-концептуальное направление: формирование общих идеологических установок, составляющих основу коллективных представлений о прошлом, о национальной идентичности, содержании культурной памяти и т.п.

Мотивационным документом в рамках данного направления является Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором говорится о необходимости создания условий «для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации» [193]. Для реализации данной цели в рамках различных государственных проектов Чеченской Республики инициированы десятки грантовых программ, направленных на формирование и поддержание национальной идентичности чеченского народа, популяризация языка (в том числе и русского, и языков малых этнических групп,

проживающих на территории Чечни), литературы, народных художественных промыслов и ремесел.

Таким образом, национальная идентичность рассматривается как результирующая духовных, культурных (в том числе художественных) и языковых компонентов. Такая формула, безусловно, является справедливой, однако она не позволяет оценить специфичность понимания идентичности именно чеченского народа.

2. Религиозно-этическое направление: обращение к религии, истории, обычаям, традициям, фольклору чеченской культуры как базовому ресурсу формирования духовных основ современного чеченского общества, обладающему «нравственно-гуманистическим потенциалом».

В «Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики» в качестве аксиологического фундамента развития культуры обозначаются патриотизм, религиозные ценности и национальные традиции и обычаи – три основания, каждое из которых так или иначе связано с прошлым. Особое место в системе нравственного развития чеченского народа уделяется религиозному духовному наследию: «Система традиционных ценностей выступает духовно-нравственным фундаментом общества, который позволяет сохранять и укреплять суверенитет, строить будущее, несмотря на все сложности и противоречия исторического развития. В частности, традиционный ислам (суфизм) наравне с православием есть основополагающая духовная сила российского общества, которая объединяет народы России, дает им возможность противостоять внешним угрозам. Чеченский народ, пронизанный духом суфизма, только тогда справлялся с жизненными неурядицами, когда каждый человек осознавал, что он является членом единого организма, единого пространства, единого духа и что здесь, на земле, у него есть обязанности перед Отечеством и потомками» [66].

Кроме указанных выше к значимым ценностям, формирование которых невозможно без уважительного отношения к прошлому Республики и ее национальной истории, относятся следующие духовные ориентиры:

- «укрепление межнационального доверия и согласия;
- мирное разрешение межэтнических проблем и конфликтов;
- уважительное отношение к истории, языку и духовному опыту других народов;
- этнонациональное гражданское самосознания, культура межнационального общения на основе народных традиций, ценностей российской и мировой культуры.

3. Нормативно-правовое направление: формирование новой и совершенствование существующей юридической базы в сфере мемориальной культуры.

3.1. Принятие республиканских, учитывающих местные социокультурные реалии законов (например, «О музейном фонде Чеченской Республики и музеях в Чеченской Республике», «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чеченской Республике»), направленных на обеспечение оптимальных условий функционирования учреждений и организаций культуры, связанных с сохранением, трансляцией, популяризацией культурной памяти чеченского народа.

3.2. «Организация и проведение заседаний межведомственной рабочей группы по координации, пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального законодательства об охране культурного наследия в отношении музеев-заповедников и иных объектов культурного наследия» [56].

3.3. Правовая регламентация процессов историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия регионального значения.

3.4. Нормативное регулирование процессов выявления, учета, охраны и сохранения памятников военно-мемориального наследия.

4. Охранно-восстановительное направление: обеспечение на организационном, правовом, научно-исследовательском уровнях оптимальных условий бытования объектов культурного наследия.

4.1. Реставрационная деятельность (например, масштабные реставрационные работы, проводимые «Всероссийским художественным научно-реставрационным центром имени академика И. Э. Грабаря»).

4.2. Государственная паспортизация и учет объектов культурного наследия, внесение их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (например, за последние десять лет было паспортизировано 77 объектов нематериального культурного наследия; был обновлен перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Чеченской Республики, включающий 270 выявленных объектов культурного и археологического наследия).

4.3. Релокализация объектов культурного наследия на электронные носители. Благодаря реализации программы «Цифровая среда» было оцифровано 48 тысяч книжных памятников.

4.4. Конвертация социальной активности в различные формы сохранения культурного наследия. Например, благодаря программе «Творческие люди» и Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 был сформирован социальный институт добровольчества в сфере охраны, учета, сохранения и популяризации объектов материального и нематериального наследия. К 2024 году планирует вовлечение в данную программу более 100 тысяч волонтеров.

В целом можно сказать, что историко-культурное наследие играет огромную роль в развитии современной мемориальной культуры Чеченской Республики, то есть совокупности различных способов сохранения, трансляции, интерпретации коллективных представлений о прошлом. Историко-культурное наследие и формы взаимодействия с ним являются, с одной стороны, сферой проявления мемориальной культуры, а, с другой –

источником ее формирования и поддержания. А мемориальная культура, основу которой составляют традиционные ценности, традиционный уклад, обычаи, национальный язык и религия, может быть названа фактором поддержания социального единства и источником национальной идентичности. Нельзя не согласиться с авторами «Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики» относительно того, что «традиции не связаны с чем-то архаичным, ненужным, мешающим. Традиция - это не воспоминание о прошлом, не просто малозначимая особенность того или иного народа, а основа его общественного устройства, образа жизни, права, модели общества, способ сохранения и передачи ценностей из поколения в поколение» [66].

5. Мемориально-музейное направление: музеефикация объектов культурного (материального и нематериального) наследия.

5.1. Открытие новых музеев и выставочных пространств (в том числе и передвижных), расширение практики проведения обменных выставок с целью популяризации культурных ценностей народов России и в том числе народов, проживающих на территории Чеченской Республики.

5.2. Восстановление и пополнение музейных фондов.

5.3. Виртуализация музейной среды. Например, в рамках программы «Цифровая среда» «музеи и выставочные пространства получают возможность виртуально взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности» [56].

5.4. Популяризация культурного (материального и нематериального) наследия чеченского народа посредством «публикации музейных предметов и коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей [56].

6. Военно-мемориальное направление: увековечивание памяти погибших при защите Отечества (согласно одноименной программы).

6.1. Ремонтно-реставрационные работы. Например, за первые два года реализации Программы были отреставрированы: «Братская могила 5-ти советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ осенью 1942 г.», «Братская могила советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ», «Братская могила советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ», «Братская могила 72-х советских воинов, погибших в битве за Северный Кавказ».

6.2. Обеспечение систематического текущего контроля за состоянием объектов военно-мемориального наследия.

7. Языковое направление: популяризация национального чеченского языка и языковых традиций народов, проживающих на территории Чеченской Республики.

В современных условиях, по словам Р. С. Ильясовой, чеченский язык испытывает серьезное влияние со стороны русского языка, становясь постепенно языком бытового общения. Следствием этого становится утрата «носителями языка целых пластов лексики, таких, как названия животных, растений, терминов производства и даже такой части речи, как числительное» [79, с. 534]. Между тем, чеченский язык, как и языки других малых народов, является этнической, историко-культурной ценностью, нуждающейся в государственной поддержке. Такого рода поддержка обеспечивается в современной Чеченской Республике в различных формах.

7.1. Разработка и принятие закона о чеченском языке;

7.2. Реализация различных программ (творческие конкурсы, программы грантовой поддержки, специализированные языковые курсы и пр.), ориентированных на создание условий для сохранения и развития национальных языков.

8. Художественно-творческое и спортивное направление: государственная поддержка национальных культурных традиций.

Высокий социокультурный статус чеченского фольклора, национальных промыслов и видов спорта и в целом – культурных традиций и

обычаев чеченского народа как объектов культурного наследия закреплён во всех важнейших государственных документах. Он предполагает реализацию целого комплекса мер, направленных на сохранение традиционной культуры Чечни в целом и сохранение механизмов, обеспечивающих трансляцию норм и обычаев из поколения в поколение, в частности. Среди них:

- «использование потенциала средств массовой информации (проведение различных телевизионных и радио - передач, фильмов, роликов и т.д., размещение статей в печатных и электронных СМИ о традициях, обычаях и культуре народов Чеченской Республики);

- проведение этнокультурных праздников и фестивалей;

- проведение встреч, бесед и других разъяснительных мероприятий с молодежью;

- оказание содействия органами государственной власти в исследовательской и научной деятельности по изучению обычаев, традиций и культуры народов Чеченской Республики;

- издание литературы о традициях, обычаях, культуре народов Чеченской Республики;

- составление методических рекомендаций по организации работы в данном направлении» [66].

И фольклор, и традиции, и обычаи позиционируются государством как носители содержания культурной памяти, источники духовных ценностей и инструменты их распространения в условиях актуальной культуры. Согласно Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 (пункт 12) необходимо создавать разнообразные условия для развития национальной культуры (национального искусства, ремесел), поддерживать ее посредством вручения премий и учреждения грантовых программ [193]. Как справедливо замечает исследователь чеченского фольклора В. Ш. Расумов, «в XXI веке перед нашим обществом остро встала проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. На наш взгляд, это связано с ослаблением роли семьи как социального института. Наши отцы и деды, как известно, в силу

разных причин не получали светского образования, как, скажем, нынешнее поколение, однако благодаря фольклорному мышлению они отличались высоконравственным сознанием, острым умом, умением красиво говорить, ладить в обществе и т.п. Всего этого остро недостаёт на современном этапе нашей молодежи, из года в год теряющей культуру общения на родном языке, а это в конечном счёте может привести к размыванию связей с налаженными в течение веков обычаями и традициями народа» [152, с. 46].

Таким образом, в рамках данного направления мемориальной политики можно выделить как минимум три значимых направления государственного внимания.

8.1. Поддержка народных художественных промыслов как аккумулятора культурной памяти, способа ее межпоколенной трансляции, источника сохранения традиции.

8.2. Поддержка национального искусства (концерты, фестивали национального искусства). Например, в рамках реализации пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 предполагается: 1) создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек; 2) учреждение и вручений премий в области национальной культуры, искусства, литературы; 3) организация грантовой поддержки коллективов, «деятельность которых направлена на сохранение, развитие и распространение культурных ценностей чеченского народа» [56].

8.3. Поддержка национальных видов спорта и проведения соответствующих соревнований.

9. Коммеморативное направление: проведение различных мероприятий, приуроченных к памятным датам (в частности, вечеров памяти выдающихся деятелей культуры и искусства Чеченской Республики) и в память о выдающихся представителях российской и чеченской культуры.

10. Туристическо-рекреационное направление: использование потенциала культурного наследия Чеченской Республики для повышения ее туристической привлекательности.

10.1. Включение мемориально-исторических объектов в туристические маршруты (например, древнего города-крепости Хой).

10.2. Разработка программ стимулирования развития культурно-познавательного туризма в Чеченской Республике, смысловыми узлами которых являются объекты культурного наследия.

11. Реабилитационное направление: восстановление в правах представителей репрессированных народов и жертв политических репрессий (Редакция 2007 года).

11.1. Реализация соответствующих законов и указов (Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», Закон Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий», указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающие социально-экономическое и культурное возрождение и развитие ранее репрессированных народов и граждан).

11.2. Обеспечение научно-исследовательской работы, направленной на историческое, культурологическое, политологическое изучение феномена депортации и ее последствий для чеченского народа.

11.3. Интеграция информации о депортации в пространство современных российских СМИ.

11.4. Организация коммеморативных мероприятий, ориентированных на увековечивание памяти жертв сталинских репрессий.

12. Мемориальный нейминг: практика наименований урбанистических объектов (города, села, поселки) и элементов городской (или шире – селитебной) среды – улиц, проспектов, площадей, мостов и пр. в честь знаковых деятелей и событий прошлого. Данное направление мемориальной политики будет более подробно рассмотрено в следующем параграфе.

Инструментами реализации мемориальной политики выступают следующие.

1. Грантовые программы (например, «Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере в области культуры Чеченской Республики», «Конкурс грантов Главы Чеченской Республики для поддержки проектов в области культуры и искусства», «Конкурс грантов Главы Чеченской республики для некоммерческих организаций в регионе» и др.). Примечательно, что в рамках грантовой программы поддержки проектов в сфере культуры и искусства, все проекты-победители так или иначе связаны с актуализацией прошлого (либо в формате обращения к национальному искусству, либо в формате реконструкции национальных традиций и обычаев, либо в формате коммеморативных мероприятий).

2. Конкурсы и фестивали, связанные с поддержкой национального искусства (например, Всероссийского фестиваля-конкурса народного творчества и ремесла «Многоликая Россия») или носящие коммеморативный характер (например, Международного фестиваля-конкурса «Орфей – 2021» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева).

3. Деятельность волонтерских объединений (например, региональная школа волонтерского актива «Культурное наследие – достояние нации», деятельность которой ориентирована на выявление, описание, сохранение объектов материального и нематериального наследия Чеченской республики; волонтерский проект «Сохрани память», направленный на обучение юных чеченцев азам историко-культурной экспертизы памятников культурного наследия; волонтерское объединение «Волонтеры культуры», занимающееся комплексной охраной памятников культурного и природного наследия). Добровольческая и волонтерская деятельность, в том числе в сфере мемориальной культуры, регламентирована Указом Главы Чеченской

Республики от 27 апреля 2018 года № 62 «О мерах по развитию добровольчества (волонтерства) в Чеченской Республике».

4. Система образования и просвещения. Образование, прежде всего, школьное рассматривается как важнейший ресурс формирования и развития мемориальной культуры, то есть бережного, осознанного отношения к прошлому, вплетенного в ткань актуальности посредством традиций и иных форм нематериального и материального культурного наследия. Так, в «Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики» в качестве важнейших приоритетов работы всех учреждений сферы образования обозначены гражданско-патриотическое, идейно-нравственное и национальное направления. В их основе лежит воспитание уважения к истории Чеченской Республики, ее традициям, обычаям, культурному наследию, приобщение к ним в повседневной деятельности: «Система образования призвана сформировать у детей чувство глубокого уважения и почитания к культуре своего народа, признательность просветителям нашей страны, интерес к её истории. Воспитанники должны знать особенности исторически традиционных религий, их роль в историческом и культурном развитии страны, с уважением относиться к представителям этих религий» [66].

Критериями эффективности мемориальной политики, обозначенными в проанализированных документах, являются:

1. Количественные критерии (синтезированы из разных документов):
 - пополнение музейных и библиотечных фондов новыми артефактами;
 - увеличение числа посетителей музеев и объема библиотечного охвата населения Республики (в 2024 году на 15 % числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года);
 - увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия Чеченской Республики (до 56% к 2024 году);

- проведение различных телевизионных и радио - передач, фильмов, роликов и т.д., размещение статей в печатных и электронных СМИ о традициях, обычаях и культуре народов Чеченской Республики;
- проведение этнокультурных праздников и фестивалей;
- проведение встреч, бесед и других разъяснительных мероприятий с молодежью;
- организация исследовательской и научной деятельности по изучению обычаев, традиций и культуры народов Чеченской Республики;
- издание литературы о традициях, обычаях, культуре народов Чеченской Республики;
- обеспечение широкого неограниченного доступа граждан Чеченской Республики к достижениям национальной культуры через формирование публичных электронных библиотек, музейных, театральных и иных интернет-ресурсов в сфере культуры (увеличение в 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (по сравнению с уровнем 2017 года).

2. Качественные критерии:

- сохранение культурного наследия Чеченской Республики;
- «формирование у граждан, проживающих в Чеченской Республике, чувства гражданского патриотизма и межнационального согласия;
- сохранение традиций и создание условий для развития народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел» [56];
- повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Чеченской Республики, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры.

На основании изложенного в данном параграфе можно сделать следующие выводы.

1. Под мемориальной политикой в контексте нашего исследования понимается система государственных ресурсов, в том числе финансовых,

правовых, административных, целью практического использования которых является формирование определенного образа прошлого и выбор способов его репрезентации в пространстве актуальной культуры.

2. Мемориальная политика в Чеченской Республике только формируется как самостоятельный объект государственного внимания. Однако на сегодняшний день она «растворена» в других, более общих направлениях деятельности государства: национальном, духовно-нравственном, религиозном, культурно-туристическом и др. То есть о мемориальной политике в современной Чечне следует говорить не столько как об отдельном секторе государственной культурной политики, сколько как об особом роде идейном основании, фундирующем различные сферы государственного регулирования.

3. Наибольшее внимание в контексте мемориальной политики уделяется построению идейно-концептуально (формирование общих идеологических установок, составляющих основу коллективных представлений о прошлом, о национальной идентичности, содержании культурной памяти и т.п.) и нормативно-правовой (формирование новой и совершенствование существующей юридической базы в сфере мемориальной культуры) платформ ее существования.

Более частными, во многом производными от обозначенных выше, но не менее значимыми являются следующие направления мемориальной политики:

– религиозно-этическое (обращение к религии, истории, обычаям, традициям, фольклору чеченской культуры как базовому ресурсу формирования духовных основ современного чеченского общества, обладающему «нравственно-гуманистическим потенциалом»);

– охранно-восстановительное (обеспечение на организационном, правовом, научно-исследовательском уровнях оптимальные условия бытования объектов культурного наследия);

- мемориально-музейное (музеефикация объектов культурного (материального и нематериального) наследия);
- военно-мемориальное (увековечивание памяти погибших при защите).
- языковое (популяризация национального чеченского языка и языковых традиций народов, проживающих на территории Чеченской Республики);
- художественно-творческое и спортивное (государственная поддержка национальных культурных традиций);
- коммеморативное (проведение различных мероприятий, приуроченных к памятным датам (в частности, вечеров памяти выдающихся деятелей культуры и искусства Чеченской Республики) и в память о выдающихся представителях российской и чеченской культуры);
- туристическо-рекреационное (использование потенциала культурного наследия Чеченской Республики для повышения ее туристической привлекательности);
- реабилитационное (восстановление в правах представителей репрессированных народов и жертв политических репрессий);

4. Наиболее значимыми инструментами реализации мемориальной политики в Чеченской республике выступают: грантовые программы; тематические, как правило, фольклорные конкурсы и фестивали; деятельность волонтерских объединений; образовательные проекты.

5. Мемориальная политика Чеченской Республики, согласно проанализированным документам, носит транскультурный и трансрегиональный характер. Транскультурность подразумевает интерес к сохранению памяти не только о прошлом (истории, культуре, традициях) чеченского народа, но и о прошлом малых народностей, проживающих на территории Чечни, о российской и мировой истории в целом. Одна из задач социально-экономического развития Чеченской Республики сформулирована следующим образом: «Сохранение и развитие национальных (чеченских и

общероссийских) культурных ценностей и традиций, обеспечение максимальной доступности российского и мирового культурного наследия для жителей Чеченской Республики» [184]. Под трансрегиональностью подразумевается распространение целей, задач, содержания мемориальной культуры не только на представителей чеченского народа, проживающих на территории Чеченской Республики, но и на чеченцев, проживающих за ее пределами. Это специально обозначено в Концепции государственной национальной политики Чеченской республики (редакции 2016 года), в которой говорится о необходимости «содействия чеченцам, проживающим вне Чеченской Республики, в сохранении и развитии родного языка, традиций, культуры» [98].

2.3. Официальный уровень современной мемориальной культуры Чеченской республики⁶

В предыдущих параграфах мы определили ключевые узлы культурной памяти чеченского народа, проанализировав их как череду значимых, обладающих мощным идентификационным потенциалом и существенно влияющих на картину мира современных чеченцев исторических событий. Кроме того, на основе анализа наиболее значимых в социокультурной сфере государственных документов были определены основные особенности актуальной чеченской мемориальной политики (политики памяти), охарактеризовано место мемориальной повестки в культурной политике Чеченской Республики. Мемориальная политика в логике нашего исследования является уровнем официальной (государственной) репрезентации направлений мемориальной культуры – тем, что в рамках обозначенной нами структуры мы назвали «официальные формы мемориальной деятельности». Уровнем, на котором формируются идейно-ценностные основания интерпретации и презентации образа прошлого (мемориальный нарратив), на котором действуют наиболее влиятельные мемориальные акторы (собственно государство, официальные эксперты, общественные организации и пр.) и медиумы (государственные СМИ, система образования, «заказное» мемориальное искусство, государственные музеи и пр.).

В данном параграфе мы проанализируем три направления мемориальной культуры, сущностное наполнение и практическая реализация которых осуществляется по инициативе государства, то есть на уровне мемориальной политики, а потому их можно отнести к категории

⁶ В тексте параграфа использованы фрагменты статей автора: Мемориальный нейминг: основные тренды в сфере наименований объектов городской среды современной Чеченской Республики (на примере города Грозный). С. 81-86. Мемориальный нарратив сквозь призму официальной риторики Р.А. Кадырова: опыт культурологического анализа. С. 118-125; Традиционные ценности чеченской культуры сквозь призму современного чеченского кинематографа. С. 62-68.

«официальных форм мемориальной деятельности»: это мемориальный нарратив (публичные выступления главы Чеченской Республики за последние 10 лет), мемориальное искусство (фильмы, снятые чеченскими режиссерами за последние 15 лет) и официальные коммеморации (мемориальный нейминг г. Грозного за послевоенный период – последние 19 лет). Данные направления не исчерпывают многообразия официальных форм мемориальной деятельности, однако, на наш взгляд, являются наиболее важными и показательными, с одной стороны, формирующими паттерны восприятия прошлого (публичные выступления, кинематограф), а, с другой – отражающими уже сложившиеся в данной сфере принципы (кинематограф, нейминг). Детальное изучение остальных официальных направлений мемориальной культуры ляжет в основу дальнейших научных изысканий автора диссертации.

Мемориальный нарратив. Анализ официальной риторики Президента Чеченской Республики Р. Кадырова

Существует довольно много различных авторских методик анализа мемориального нарратива. Так, например, Г. Гилл (Сиднейский университет) на основе анализа советской идеологии вводит понятие советского метанарратива, который представляет собой «совокупность дискурсов, которые в упрощенной репрезентуют идеологию» [281, с. 3]. Метанарратив выполняет важнейшую функцию темпорально-смыслового объединения. Он нивелирует разрыв между прошлым, настоящим и будущим, объясняя суть каждого из модусов времени, а также разрыв между «высокими» идеологическими установками и коммеморативными практиками и ритуалами, наполняя их доступным смыслом и значением. Методика Г. Гилла строится на анализе разного рода текстов и институциональных практик (институт президентства, выборы, парламентаризма, деятельность политических партий и общественно-гражданские инициативы).

Американский политический антрополог Дж. Верч в качестве базы анализа выбрал российские школьные учебники 90-х годов прошлого века

как пример официального текста, продуцируемого государством. Сама методика анализа строится на понятии нарративного шаблона, который позволяет зафиксировать не столько собственно содержание текста, сколько ключевые паттерны репрезентации смысла. Такие нарративные шаблоны, по мысли ученого, лежат в основе разнородных текстов, создаваемых в рамках определенной культуры, и в совокупности определяют конвенциональные способы интерпретации прошлого [49].

О. Ю. Малинова на основе различных текстов, посвященных юбилею революциям 1917 года, осуществила сравнение нарративов, «развиваемых разными мнемоническими акторами... Предложенный нами подход опирается на принцип, согласно которому нарративы, описывающие один и тот же исторический процесс, должны иметь общие структурные характеристики, связанные как с общей логикой мнемонического дискурса, так и с фактологией описываемых событий» [118, с. 26].

Исследователь выделила ряд оснований анализа:

- основная идея (стержень повествования, отражающий миссию или идентичность мнемонического актора);
- сюжетная линия (чередa событий, лежащих в основе повествования);
- элементы-события (события, формирующие перспективные связи);
- основные действующие лица (акторы исторического процесса);
- уроки (назидательный концепт нарратива) [118, с. 26].

В. Середа на основе анализа официальных выступлений президентов России и Украины (1994-2006 гг.) определила, «какие исторические аргументы, события и факты используют президенты обеих стран для создания коллективной исторической идентичности и формирования новых представлений о национальном прошлом» [177]. Объектами анализа выступили конкретные высказывания политиков, отражающие их представление о прошлом как модусе, прошлом как истории и прошлом как идеологическом ресурсе настоящего.

Исследовательский коллектив Л. Б. Зубановой, Н. Л. Зыховской и М. Л. Шуб осуществил в некотором смысле аналогичный лингво-темпоральный анализ, текстовой базой которого послужили инаугурационные речи глав США и России. На основе изучения стенограмм инаугурационных посланий глав указанных государств выявлялись вербальные маркеры – слова и словосочетания, репрезентующие отношение к различным модусам времени (прошлому, настоящему и будущему), а также к ассоциативно и смыслово связанным с ними феноменам (традициям, новациям, прогрессу, историческому наследию и пр.). Категориями анализа выступили: эмоциональный контекст подачи информации, ее формальные и содержательные характеристики. Речевыми единицами темпоральной диагностики стали *past*-маркеры (смысловые ассоциации: «история», «традиции», «память», «отцы-основатели», «предки», «предшественники», «наследие», «прошлое», «минувшее», «пример отцов (предков)», «корни», «вчера», «вечность», «забвение»), *past*-аллюзии (цитаты, использование образов героев) и *past*-идеи (транслируемые приоритеты) [70].

На основе описанных методик мы разработали собственную, учитывающую все преимущества уже существующих и в наибольшей степени адекватную нашим исследовательским задачам.

В качестве базы анализа были выбраны:

1. Инаугурационная речь Рамзана Кадырова (2007 г.);
2. Интервью Н. Ускова с Р. Кадыровым «Разговор с Рамзаном Кадыровым», опубликованном в журнале «Сноб» (28 мая 2013 г.);
3. идиИнтервью Р. Кадырова Телеканалу Россия 24. (11 декабря 2013 г.);
4. Послание главы Чеченской Республики Парламенту Чеченкой Республики и народу Чеченской Республики о социально-экономическом развитии Чеченской Республики и задачах органов государственной власти Чеченской Республики на 2019 год;
5. Послание главы Чеченской Республики Парламенту Чеченкой Республики и народу Чеченской Республики о социально-экономическом

развитии Чеченской Республики и задачах органов государственной власти Чеченской Республики на 2022 год;

6. Статья Р. Кадырова «Крах однополярного мира», опубликованная на официальном сайте Главы Чеченской Республики (2022 г.).

Были выделены следующие категории анализа:

1. Смысловой и событийный контекст упоминания прошлого;
2. Мемориальные акторы и медиумы;
3. Оценка прошлого;
4. Взаимосвязь модусов времени;
5. Речевые past-маркеры.

1. Смысловой и событийный контекст упоминания прошлого существенно отличается в зависимости от тематики анализируемого текста: от осмысления итогов Холодной войны, проблемы расширения НАТО на восток, причин российско-чеченских войн, итогов послевоенного восстановления Чечни, задач в сфере сохранения популяризации историко-культурного наследия до перечисления достижений Республики и планов на ближайшее будущее. В этом смысле довольно сложно выделить некий универсальный содержательный фрейм, который бы в наибольшей степени коррелировался с феноменом прошлого.

2. В качестве мемориальных акторов выступают акторы двух типов:

– обобщенно-институциональный тип, представленный государством как таковым;

– персонализированный тип, главным образом, ассоциирующийся с личностью А.-Х. Кадырова.

В качестве мемориальных медиумов, то есть институций и/или социальных агентов, осуществляющих трансляцию представлений о прошлом, являющихся носителями ретроориентированных ценностей, упоминаются:

1. Представители старшего поколения («старики – это же живая история, разговаривай, спрашивай, учись у них... это большое счастье, когда в доме есть старики» [81]).

2. Государственные инстанции, ответственные за сохранение национальных традиций, исконного уклада жизни, обычаев, уникальных явлений культуры: «Нам нужна прочная духовная, историческая основа, а для этого мы должны беречь свои национальные истоки» [186]. В качестве значимых целей государственной мемориальной политики обозначаются: обеспечение преемственности традиций, уважение к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов России [187]. В Послании Парламенту и народу Чеченской Республики на 2022 год обозначаются и конкретные мероприятия, позволяющие достичь указанные цели: формирование в обществе высокой значимости обычаев и традиций чеченского народа как национального достояния посредством проведения тематических мемориальных фестивалей и праздников, поддержки фольклорных ансамблей, определение западной границ Чеченской Республики (Галанчожский район), который является этногенетическим центром чеченского народа [187].

3. Прошлое чаще всего упоминается в двух основных оценочных плоскостях:

– аэмоциональном: отсутствует как таковая выраженная оценка прошлого, которое предстает как некий полигон исторических событий, источник актуальности;

– позитивно-эмоциональном: прошлое оценивается как «золотой век», как время высочайших нравственных идеалов, справедливого социального порядка, которые частично утрачены в настоящем; в данном контексте прошлое выступает как источник созидательного опыта и значимых уроков. В статье «Крах однополярного мира» Р. Кадыров ассоциирует прошлое с временем благоденствия, которое отличалось «всеобщим братством» и равенством всех национальностей [100].

Интересно, что, несмотря на то, что в совсем недавнем прошлом на территории Чеченской Республики велись тяжелейшие военные действия, некоторые города (прежде всего, Грозный) были практически полностью разрушены, чрезвычайно пострадало мирное население, в речах Р. Кадырова негативная оценка этого «актуального прошлого» отсутствует. Напротив, воспоминания о нем конвертируются в созидательный анализ сделанного за последние десятилетия для восстановления мирной жизни.

4. Во всех проанализированных текстах прослеживается универсальная темпоральная логика:

1. Настоящее есть преемник прошлого, между ними существует прочная и верифицируемая связь: «В логически выстроенной цепочке исторических событий, вы найдете ответы и многое поймете. Чтобы понять день сегодняшний нужно заглянуть в прошлое» [100]. В Послании Парламенту Чеченкой Республики и народу Чеченской Республики на 2019 год Р. Кадыров цитирует фразу своего отца, демонстрирующую убежденность в преемственности прошлого и настоящего: «Народ, не помнящий прошлого, не имеет будущего» [186]. В интервью журналу «Сноб» Р. Кадыров именно прошлое, воплощенное в «Коране, обычаях и традициях наших предков», называет основными источниками принятия решений и критериями легитимности осуществляемой государственной политики [195].

2. Объективация этой связи прошлого и настоящего осуществляется через политическую, идеологическую, духовную преемственность управленческого курса А.-Х. Кадырова и Р. Кадырова. Во всех интервью и официальных выступлениях Р. Кадыров неизменно подчеркивает то, что он продолжает дело, начатое его отцом; что достижения сегодняшнего дня возможны исключительно благодаря основам, заложенным А.-Х. Кадыровым: «Я глубоко признателен народу Чеченской Республики за решительную поддержку курса нашего первого Президента Ахмата-Хаджи Кадырова, которым мы с вами идем» [80]; «Стабильность и устойчивое

развитие во всех сферах жизни республики стали возможны благодаря нашему ежедневному труду на пути мира, созидания и благополучия, который определил для своего народа первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров» [186].

5. В качестве наиболее часто употребляемых речевых *past*-маркеров встречаются следующие: история (исторические события, историческая основа, исторические границы, историческая ценность), историко-культурное наследие, национальные истоки (древность культуры, этногенез), традиции и обычаи, испытание временем, депортация.

Речевые параметры проанализированных текстов позволяют говорить о том, что прошлое ассоциируется, прежде всего, с двумя смысловыми векторами:

– историческим, в рамках которого осуществляется апелляция к истории как некоему объективному знанию, осмысленному и верифицируемому, выступающему рациональной основой актуальности, зримо и объяснимо детерминирующей ее; в рамках этого же вектора особенно подчеркивается древность чеченского общества, культуры, народа, его крепкая укорененность в прошлом;

– социокультурным, в рамках которого прошлое визуализируется через обобщенно-символические явления, такие как традиции, обычаи, уклад, корни, основы, наследие; к этой же категории можно отнести и речевые маркеры, которые встречаются не так часто, но довольно ярко окрашивают тексты публичных выступлений главы Чечни и придают им метафорическое звучание – «воспоминания, как старая кинохроника», «носители исторической памяти», «испытание временем», «удары судьбы». Как отмечает Э. С. Азиева, «в стилистических средствах Р. А. Кадыров склонен использовать метафоры, поскольку они позволяют создать яркий запоминающийся образ, сильнее всего воздействующий на публику» [3, с. 71].

Проанализированные тексты не позволяют говорить о доминировании одного или второго вектора. Скорее, можно говорить об их сбалансированности, о сочетании двух моделей презентации прошлого – научно-рациональной и символично-метафорической. Первая из них позиционирует прошлое как историю, как совокупность объективных знаний о минувшей реальности, которые являются базисом сегодняшнего дня. А вторая – как совокупность не всегда осязаемых, но чрезвычайно значимых оснований чеченской культуры, идентичности, самосознания.

Стоит, однако, указать на тот факт, что в публичных выступлениях и официальных текстах Р. Кадырова прошлое не является содержательным лейтмотивом. Глава Республики апеллирует к нему эпизодически и случайно (за исключением Посланий на 2019 и 2022 годы, где темы прошлого конкретизируются через достижения в области культурно-исторического наследия, молодежной и национальной политики), не делая его повествовательным центром или ресурсным источником своих текстов.

В этом смысле мемориальный нарратив, репрезентуемый в официальных текстах и выступлениях Р. Кадырова чрезвычайно ярко проявляет черту, которую О. Ю. Малинова и А. И. Миллер обозначили генеалогичностью, то есть апелляцией не к прошлому, не к причинам, а к будущему, к последствиям [118, с. 19].

Мемориальный нейминг: опыт наименования объектов городской среды г. Грозный

Под мемориальным неймингом понимается практика наименований населенных пунктов всех типов (города, села, поселки) и элементов селитебной (в том числе и городской) среды в честь значимых деятелей, мест, дат и событий прошлого.

Стоит подчеркнуть, что не каждый акт наименования является одновременно и актом коммеморации, то есть придает неймингу мемориальный статус. Таковым он становится лишь тогда, когда наименование носит мемориальный характер, то есть фиксирует в

культурной (социальной) памяти аксиологически наполненные фрагменты минувшего.

Специфика мемориального нейминга в сравнении с другими коммеморативными практиками заключается в том, что он:

1) носит значительно более выраженный регламентированный и процедурный характер (подразумевает наличие многоступенчатой системы принятия решений и их практического воплощения, связанной не только с идеологическими, но и чисто техническими, административными аспектами);

2) наименее публичен (в минимальной степени задействует аудиторию в качестве соучастника мемориального действия);

3) масштабен (на стадии реализации мемориальный нейминг апеллирует к предельно широкому кругу реципиентов, охватывает широкую целевую аудиторию);

4) официозен (напрямую ассоциируется с государственной культурной политикой и политикой памяти; его реализация невозможна без участия государственных инстанций);

5) консервативен и монументален (подвержен наименьшему влиянию сиюминутных факторов, отражает предельно значимые события и биографии).

При этом мемориальный нейминг соответствует трем универсальным требованиям, предъявляемым к любым коммеморативными практикам – эмоциональности (обращенность к наиболее острым и ярким страницам прошлого, вызывающего самую острую эмоциональную реакцию аудитории), инсценированию (ритуализированность) и институциализации (воспроизводство устойчивых форм).

В рамках нашего диссертационного исследования мы рассмотрим специфику мемориального нейминга в современной Чеченской республике на примере ее столицы, города Грозного. Оговоримся, что мы представим лишь наиболее общие тенденции в данной сфере официальных коммемораций, не разрабатывая ее столь подробно, как, например, М. Л.

Шуб [221]. В выбранной нами исследовательской логике нам необходимо не столько зафиксировать конкретно численные показатели, сколько наметить общие тренды, которые можно было бы сравнить с трендами в других секторах мемориальной культуры.

Актуальность обращения к данной теме продиктована почти полным отсутствием опыта ее научного осмысления при очевидной не только теоретической, но и практической значимости. Чеченская республика, лишь недавно пережившая страшные потрясения военного времени, находится в стадии оформления новой этнической и национальной идентичности, переосмысления событий далекого и недавнего прошлого, адаптации к новым, мирным условиям политической, социально-экономической и культурной жизни. И мемориальный нейминг – это лишь одна, но чрезвычайно важная репрезентативная составляющая данных процессов, позволяющая увидеть векторы социальных, ценностных, ментальных трансформаций и оценить их сущностное наполнение.

В. Х. Тхакахов ситуацию с мемориальным неймингом в Чеченской Республике и в целом столицах Северного Кавказа называл «топонимическим переделом идентичности и памяти» [191, с. 40]. На наш взгляд, понятие передела обладает слишком драматичными коннотациями, хотя довольно точно фиксирует революционность нейминговых процессов, происходящих в Чечне и особенно в ее столице. Специфика этих процессов заключается в следующем.

Во-первых, параллелизм процессов нейминга и ренейминга с тотальным обновлением городского ландшафта («пакетный урбанизм», при котором переименование и новые наименования топонимов сопровождаются реализацией инфраструктурных проектов в городах [191, с. 44]. Катализатором и историческим контекстом практики мемориального нейминга выступало масштабное градостроительное восстановление Грозного, связанное с его практически полным разрушением во время двух военных компаний. В таких условиях восстановлению и перестройке

подверглись не только здания и улицы, но и культурная память и национальная идентичность чеченского народа. Их формирование и укрепление осуществлялось, в том числе и за счет практик присвоения имен объектам городской среды, поскольку «городская топонимика в виде определенного корпуса урбанонимов, как нам представляется, – это символическая форма обустройства и закрепления в городском пространстве социальных практик по конструированию и деконструкции идентичности и памяти... Идеология и политика идентичности отбирают и закрепляют корпус имен-символов в городском пространстве» [191, с. 41].

Во-вторых, отсутствие темпорального регламента. Согласно нормативно-правовым параметрам процесс мемориального нейминга в Грозном не предусматривает наличие обязательной временной дистанции между актом наименования и объектом нейминга (личностью или событием). Другими словами, в отличие от других российских городов, где со дня смерти выдающегося человека или даты совершения события должно пройти какое-то время (в среднем – 10 лет, в Санкт-Петербурге – 7 лет), согласно «Положения о порядке наименования (переименования) улиц, площадей, скверов, парков, муниципальных учреждений и установления (демонтажа) памятников, бюстов, стел и мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном» такое условие не оговаривается: «Присвоение наименований (переименований) объектам муниципального образования и установление (демонтаж) памятных знаков, связанных с событиями и гражданами новейшей истории, может производиться независимо от времени прошедшего со дня события» [135].

В-третьих, сосуществование идей топонимической преемственности и топонимического обновления. С одной стороны, современная политика наименований объектов городской среды ориентирована не на смену названий (кроме отдельных случаев, когда такого рода смена объективно необходима), а на их присвоение вновь созданным элементам урбанистического пространства. Это лишает ее революционных интенций,

ориентируя на идеи мемориальной дипломатичности. С другой стороны, в 90-е годы значительное количество улиц Грозного, названных еще в советское время в честь политических деятелей и транслировавших соответственно идеи советской и коммунистической идентичности, были переименованы: «До 1990-х годов в названиях улиц Грозного, его площадей, учреждений не было ничего, за редким исключением, национального. В городе было единственное кафе с названием на чеченском языке – «Дашо сай» («Золотой олень»). После 1991 г. и августа 1996 г. началась волна переименований в Грозном и по всей республике. Так, проспект В.И. Ленина стал проспектом А. Авторханова, площадь Орджоникидзе – имама Шамиля, улица Коммунистическая – М.Д. Шерипова⁷ и т.д.» [139, с. 171].

В-четвертых, локальноориентированный характер нейминговых практик. Топонимическая политика в большей степени имеет центростремительные ориентиры, то есть нацелена на увековечивание памяти о выдающихся гражданах Чеченской Республики (участники ВОВ, участники боевых действий на Северном Кавказе, граждане, совершившие особо значимый подвиг в мирное время на территории города Грозного): «Забвение пошагово заполняется памятью о тех, кто воевал за Родину – Россию, Чечню, землю своих предков, землю и родину других стран (мухаджиры). Их имена увековечены в урбанонимах Грозного и включены в тексты научного и образовательного процессов» [87, с. 544]. По мнению М. Л. Шуб, обращение к местной, национальной реальности как источнику поводов мемориализации, может быть связано с двумя причинами: воспитательно-просветительской («желание увековечить память именно о фактах локальной истории, о выдающихся земляках, сделать их достижения достоянием общественности через закрепление их имен в названиях улиц, привлечь таким образом внимание к местным знаковым событиям и персоналиям, сформировать или усилить чувство патриотизма по отношению к родной земле» [221, с. 106]) и прагматичной, связанной с процедурами выбора и закрепления объектов мемориального нейминга («гораздо проще

обосновать предлагаемое название, если оно связано с местной историей» [221]).

В. Х. Тхакахов, в свою очередь, так комментирует эту особенность нейминговой политики современной Чечни: «Российская идентичность в топонимическом разрезе, на наш взгляд, постепенно лишается своего общенационального содержания в исторической, современной и региональной перспективах. Федеральная культурно-цивилизационная матрица покидает городские пространства Северного Кавказа. Поскольку запрос на современных героев общенационального масштаба в сегодняшней России не удовлетворяется, регионы вынуждены конструировать собственную модель знаковой реальности столичных городов. В итоге новое символическое обустройство пространства мест оказывается одной из основных задач топонимического передела» [192, с. 23].

В-пятых, идеологическими основаниями топонимической политики Чечни являются три компонента – военный (милитарный), религиозный и спортивный, которые в совокупности отождествляются с идеей нохчо, своего рода чеченского кодекса чести. Более подробно этот аспект нейминговой политики был проанализирован В. Х. Тхакаховым в статье «Идентичность и память в топонимической политике Чечни» [191].

Еще раз подчеркнем, что мемориальный нейминг является важнейшим маркером актуальных социокультурных и конкретно – мемориальных процессов и трендов. Как справедливо отмечает М. Л. Шуб, «за каждым названием улицы... стоит нечто большее, чем простая фиксация исторического факта, значимого места или событий биографии. Не зря ведь сама технология присвоения таких названий является достаточно сложной, многоступенчатой, основанной на процедурах инициирования, защиты, обсуждения, голосования и т. п. Вообще любой акт закрепления информации в коллективной памяти является достаточно ответственным (даже на уровне такого, казалась бы, формального жеста, как наименование улицы или переулка), поскольку за ним стоит решение: что признать важным для

запоминания в конкретной исторической ситуации, а что пока – нет» [221, с. 117-118].

Мемориальное искусство: анализ чеченского кинематографа

Будучи инструментом объективации культурной, коммуникативной и политической памяти, мемориальная культура сама нуждается в инструментах визуализации, реализации заложенного в ней мемориального контента. Одним из таких инструментов является кинематограф. По словам Я. Ассмана, искусство в целом и кинематограф в частности, можно назвать одними из наиболее эффективных каналов, по которым содержание культурной памяти поступает к отдельному человеку, формируя его идентичность [20, с. 110].

Потенциал кинематографа как инструмента мемориальной культуры подчеркивается в официальных документах Чеченской Республики, в том числе в тех, о которых мы говорили в предыдущем параграфе. В частности, в «Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики», а также в рамках реализации пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» важнейшим ресурсом сохранения, трансляции, популяризации достижений традиционной культуры называется кинематограф. Отмечается, в частности, необходимость создания условий для «показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек» [193].

В рамках проведенного исследования мы проанализировали фильмы, снятые чеченскими режиссерами за последние 15 лет:

1. «Отчуждение» (2007) – Б. Терекбаев;
2. «Далекий вечер» (2010) – Б. Терекбаев;
3. «Пыль для матроса» (2010) – Р. Магомадов;
4. «Залезть на луну» (2010) – Х. Эркенов;
5. «Дом» (2011) – Р. Магомадов;

6. «Февраль» (2014) – Р. Магомадов;
7. «Приказано забыть» (2014) – Х. Эркенов;
8. «Волшебный гребень» (2014) – Х. Ахмадова;
9. «Г1илакх – иманан ах» (2015) – коллектив Дома культуры «Оргтехника»;
10. «Зов сердца» (2015) – Б. Берекбаев;
11. «Однажды в детском доме» (2016) – Р. Магомадов;
12. «Лучшие друзья» (2017) – Б. Берекаев;
13. «Штурм» (2019) – А. Юшаев;
14. «История одной картины» (2020) – Р. Магомадов.

Стоит оговориться, в рамках данной части исследования мы не изучали отдельно мемориально-ориентированные фильмы, во-первых, в силу ограниченности массива выборки (за 15 лет было снято всего 14 полнометражных и короткометражных фильма), во-вторых, в связи с выраженным мемориальным компонентом в каждом из проанализированных фильмов.

В рамках проведения исследования киноматериал изучался по нескольким основаниям (категориям анализа):

- 1) темпоральная ориентированность сюжета (обращение к событиям современности, недавнего или далекого прошлого);
- 2) ценностный нарратив (обращение к общечеловеческим ценностям или ценностям, имеющим национальную природу, связанную с традициями чеченской культуры);
- 3) эмоциональный контекст киноповествования (отражение трагических, позитивных или смешанных по эмоциональному окрасу событий);
- 4) событийный нарратив (обращение к конкретным историческим событиям или сюжетам повседневности).

С точки зрения временного ракурса не значительно, но преобладают фильмы, связанные с современностью (темпоральный интервал с 90-х годов

XX до наших дней) в процентном соотношении 63% к 37%. Мы полагаем, что интерес к актуальным событиям жизни Чечни может быть связан, как минимум с двумя обстоятельствами. Во-первых, национальное чеченское кино находится на стадии зарождения (или возрождения) – формируется не только собственно киноинфраструктура, но и киноаудитория, лояльность которой во многом и определяет успешность художественного производства. Главные потребители кино сегодня – это молодые люди, для которых семантика современного сюжета понятнее и интереснее, исторических повествований. Кроме того, национальное чеченское кино преследует не только развлекательные, но и воспитательные цели, достичь которые существенно проще на примере «реальных историй» современников, зеркально отражающих жизнь обычной чеченской молодежи.

Во-вторых, на период последних тридцатилетий приходится важнейшие для Чеченской Республики исторические события – обе российско-чеченские войны, период послевоенного восстановления. Эти события являются мощнейшим событийным ресурсом для кинематографа, узловыми моментами национальной памяти, не утратившими свой идентификационный потенциал и актуальность до сих пор.

Ценностный нарратив проанализированных фильмов можно назвать национально-ориентированным, апеллирующим к традиционным ценностям чеченской культуры, семейным обычаям, одобряемым сценариям социальной коммуникации, наиболее ярко выраженным чертам национального характера (мужество, уважение к старшим и семье, преданность Родине, независимость, почитание традиций и др.).

По словам режиссера фильма «Далёкий вечер» Б. Терекбаева, цель его фильма заключается в воспитании «молодежи в духе вайнахских традиций. Это будет один из немногих современных фильмов, после просмотра которых переосмысливаешь свою жизнь и отношение к ней. Фильм, в котором есть отрицательные герои, равно как и положительные. Через антигероев, которые порой ведут себя бесцеремонно, вызывая и не

этично, мы показываем какие пороки присущи отдельной категории молодых людей, живущих в нашем обществе. И противопоставляем этому культуру вайнахов, показываем ее красоту, являем достоинства, которыми должны обладать настоящие мужчины, и мудрость религии Ислам, которой, кстати, пропитан «Далекий вечер» от начала и до конца» [203].

В 2015 году победителем фестиваля короткометражных фильмов «Родина глазами современников» стал фильм «Г1илакх – иманан ах», посвященный своего рода кодексу чести чеченцев, своду правил поведения, в основе которого лежат принципы уважения и порядочности.

По словам генерального директора «Чеченфильма», режиссера и продюсера Б. Терекбаева, «кино – это и хороший инструмент формирования самосознания народа, через кино можно популяризировать нашу культуру. Стараемся и в этом отношении не отставать. Глава республики Рамзан Кадыров уделяет этому вопросу большое внимание, и мы вносим свою посильную лепту. В своих кинокартинах стараемся отобразить богатство, самобытность, особенность культуры народа Чечни» [203].

Эмоциональный контекст киноповествования проанализированных нами фильмов мы условно разделили на три типа – драматический, позитивный и смешанный в зависимости от доминирования того или иного эмоционального настроения. Безусловно, любой фильм – это сложная эмоциональная структура, в которой, однако, могут преобладать те или иные настроенческие послы. Скажем, в исторических драмах, посвященных драматическим историческим событиям (депортации – «Февраль», «Приказано забыть», чеченской войне – «Дом», «Штурм») такого рода послы связаны с чувствами переживания трагических событий, человеческих страданий и пр. Тогда как в легкой приключенческой комедии, посвященной дружбе двух мальчиков – индуса и чеченца – зритель, хотя и вовлечен в «паутину» приключенческих ситуаций, тем не менее, испытывает радостные эмоции. Смешанный эмоциональный контекст предполагает апелляцию к целой палитре чувств, внутри которых сложно выделить какую-то

эмоциональную доминанту. Такого рода фильмы наряду с фильмами, отнесенными нами к драматическим по критерию эмоционального контекста, занимают примерно равные позиции (36 и 43% соответственно). Тогда как фильмов позитивного эмоционального контекста значительно меньше, всего 21%.

Еще со времен Древней Греции и Аристотеля именно трагедии считались наиболее катартически наполненным жанром, способным возбудить в человеке чувства сопереживания и тем самым очистить его душу. Поэтому с точки зрения возможности реализации воспитательного потенциала киноматериала, его эмоционального воздействия на зрителей, именно трагическая линия сюжета (в «чистом» виде или в контексте других эмоциональных нарративов) обладает наибольшим ресурсом художественного воздействия на аудиторию.

Этим во многом объясняется и преобладание в структуре сюжетного нарратива конкретных исторических событий как смыслового и эмоционального повода киноповествования. 64% всех проанализированных фильмов (9 из 14) строятся вокруг какого-либо значимого исторического события – Великой Отечественной войны, депортации чеченского народа в 1944 году, строительства Байкало-Амурской магистрали, обеих чеченских войн.

В целом можно отметить довольно очевидную тенденцию, которая просматривается при анализе современного чеченского кинематографа. Она связана с пониманием режиссерами (и всеми причастными к созданию фильмов) особой миссии кинематографа как ресурса восстановления и укрепления национальной идентичности, основанной на идеях уважения культурных и религиозных традиций, любви к собственной Родине, значимости сохранения коллективной памяти о трагических событиях далекой и недавней истории.

В предыдущем параграфе мы упоминали идеи О. Б. Леонтьевой относительно возможных сценариев генерирования коллективной памяти, то

есть «внутренней логики формирования представлений о прошлом, направленной на утверждение того или иного типа коллективной идентичности, на то, чтобы от имени прошлого санкционировать определенные образцы поведения, установки, оценки в настоящем и, еще более широко, в будущем, с проекцией в будущее» [104, с. 83]. К числу таких сценариев она относит несколько сценарных пар: героизацию или виктимизацию прошлого, рессентимент и ностальгию, нормализацию и проработку.

Экстраполяция данной типологии сценариев памяти на чеченский кинематограф позволяет увидеть доминирование следующих из них (в той или иной степени и форме).

1) Синтез виктимизации и героизации. Виктимизация подразумевает акцентирование внимания на событиях прошлого, связанных с «трагедиями, мученичеством, “историческими обидами”» (Е. Сокирянская такого рода память называет «памятью об обидах» [Цит. по: 125, с. 102]). Такого рода ракурс интерпретации истории, с одной стороны, обеспечивает постоянное поддержание прошлого как живого, неразрывно связанного с настоящим, во многом определяющим его, нивелирует темпоральные разрывы, формируя ощущения преемственности минувшего и актуального, поддерживая силу традиции. С другой стороны, сценарий виктимизации может оборачиваться войнами памяти, апелляциями к травмирующим воспоминаниям и неизбежными в этом случае мемориальными конфликтами. Глорификация, напротив, ориентирована на реанимацию героических, победных эпизодов культурной памяти, которые могут быть связаны не только напрямую с военными победами, но с актуализацией нарратива национального мужества и стойкости, способности к стоическому переживанию трудностей, возрождению и восстановлению после травматичных событий. Современный чеченский кинематограф демонстрирует обращение в равной степени к обоим вариациям мемориального контента.

2) Объективной ностальгии. Сценарии ностальгии и ressentимента (в его ницшевском определении) не отражают специфику восприятия прошлого в современных чеченских фильмах. Ностальгия подразумевает его чистую идеализацию, а ressentимент – активную, а порой и агрессивную культивацию коллективной злобы, порожденных драматичными фактами истории. Чеченский кинематограф, даже в случае обращения к сложным и неоднозначным событиям прошлого, носит примиряющий характер, ориентированный не на воспроизведение коллективной агрессии по направлению к обидчикам, а на апелляцию к образу светлого прошлого, национальных традиций и обычаев как источнику социального порядка.

По словам Р. Магомадова, режиссера фильма «Февраль», посвященного депортации чеченцев в феврале 1944 года, «я всегда хотел снимать фильмы, которые бы представляли, показывали Чеченскую Республику, нашу культуру, традиции, проблемы и устремления народа. Ведь только поддерживая культуру мы можем сохранить свою самоидентичность» [68]. Заглавным слоганом фильма «Штурм» (режиссер А. Юшаев) были слова «Этот фильм посвящается всем жертвам, павшим безвинно в чеченской войне» [89].

3) Локальной нормализации прошлого. По мысли О. Б. Леонтьевой, в случае с современными российскими реалиями нормализация прошлого подразумевает полное нивелирование травмирующего опыта, попытку нивелировать его болезненные эффекты, «безболезненно переварить опыт недавнего прошлого, сделать его столь же безопасным и бессильным, как та “старина”, с которой мы сталкиваемся в архитектурных заповедниках Кижей или Суздаля», – и использовать советское наследие как «основу для общественного консенсуса, переваривающего любые различия и преодолевающего любые разрывы» [99, с. 129, 227]. В случае с чеченским кинематографом срабатывает иной, более мягкий сценарий, в рамках которого можно говорить о стремлении к преодолению, снятию травматических воспоминаний посредством перенаправления мемориальной

энергии в иные русла (позитивные страницы истории, культурное наследие, актуальные созидательные задачи и пр.).

Еще Ю. М. Лотман указывал на то, что «сила воздействия кино – в разнообразии построенной, сложно организованной и предельно сконцентрированной информации, понимаемой в широком ... смысле, как совокупность разнообразных интеллектуальных и эмоциональных структур, передаваемых зрителю и оказывающих на него сложное воздействие – от заполнения ячеек его памяти до перестройки структуры его личности» [109, с. 53]. Именно в силу простоты способов выразительности и одновременной сложности структуры языка, кино предоставляет возможности для самых разнообразных мемориальных исследований. В ведущем в сфере *memory studies* журнале с одноименным названием представлена широчайшая палитра такого рода научных экспериментов – от изучения репертуара современных кинотеатров до осмысления психологических переживаний посещения кинотеатров посетителями разных стран и поколений. Однако все они сходятся в общем понимании того, что «художественные фильмы вызывают к жизни воспоминания, которые находят коллективное признание у широкой общественности; поднимают такие темы и ставят такие вопросы, которые оказывают влияние не только на культуру памяти, но и работу историков» [266, с. 3].

В качестве выводов по второй главе диссертации отметим следующее.

В структуре любой национальной культурной памяти есть наиболее знаковые компоненты, которые разными исследователями называются местами памяти (Н. Нора), мемориальными фреймами (А. Фолк), узлами памяти (М. Ротберг с коллегами Д. Саньял и М. Сильверманом) и пр. Эти компоненты представляют собой принципиально важные для формирования национальной идентичности события (в концепции П. Нора это могут быть не только события, но и места, символы, памятники и пр.), образующие своего рода «мемориальный скелет», на который в последствии наращивается весь объем культурной памяти и на основе которого

выстраивается как государственная политика памяти в целом, так и типичные ценностные установки относительно прошлого и модели коммеморативного поведения отдельных людей.

Традиционно в структуре культурной памяти преобладают события, имеющие негативную, нередко трагическую окраску и оседающие в ней в статусе травм. Различные исследователи (П. Штомпка, Р. Айерман, Т. Адорно, Ф. Артог) полагают, что именно такой мемориальный контент обладает наибольшим идентификационным и интеграционным ресурсом, то есть позволяет культурной памяти наиболее эффективно выполнять свои функции – формировать у группы чувства единства, сопричастности к общим ценностям и смыслам, уникальности и самобытности.

Среди событий, которые, по мнению современных чеченцев (и участников нашего опроса, и респондентов иных исследований), обладают наибольшей значимостью в масштабах чеченской истории и современной национальной идентичности, также преобладают травмирующие события (Кавказские и Российско-чеченские войны, депортация). Однако наряду с ними присутствуют и события позитивного, конструктивного содержания (принятие ислама), либо события, которые оцениваются чеченцами в том числе и позитивно (при наличии негативной оценки). К ним можно отнести участие чеченцев в Великой Отечественной войне, восстановительные периоды после ВОВ и российско-чеченский войн.

Маркировка в качестве мемориально значимых событий, имеющих как позитивные, так и трагические коннотации, - одна из характерных особенностей чеченской культурной памяти, которую мы обозначили как дуальность. Данная черта проявляется на практике в соединении двух мемориальных нарративов – виктимизации (интерпретация прошлого как череды актов насилия, угнетения, ущемления, совокупности трагических и разрушительных в отношении мемориального субъекта событий) и глорификации (актуализация позитивных, не обязательно связанных с военными победами, событий минувшего). Как отмечает Л. М. Дробижева,

национальная мемориальная модель жертвы не является эффективной сама по себе: «Для дальнейшего продвижения вперед необходимы были уже позитивные образы. В недавнем прошлом их явно не хватало, и в поисках светлых образов приходилось обращаться к традиционной культуре и древней истории» [63, с. 78].

С этим связаны и такие особенности национальной культурной памяти чеченцев, как удлинение истории, стремление к ее максимальному продлению назад по ленте времени (архаизация прошлого), к обоснованию древности своего происхождения, к поиску позитивных, духоподъемных событий в древнейшей истории народа, восприятие минувшего как «золотого века», источника национальной гордости и этногенетического узла.

Такое отношение к прошлому сформировало и особый статус этнического (а не государственного, общероссийского) компонента в структуре культурной памяти. По мысли В. Шнирельмана, импульсом к резкому росту интереса в отношении национального прошлого послужила, прежде всего, депортация чеченцев и ингушей зимой 1944 года: «Именно в депортации оно было актуализировано и получило форму “священного наследия”, неразрывно связанного с самим выживанием народа. Актуализировались семейно-родовые и вирдовые связи, вновь обрели смысл традиционные социальные институты. Наряду с ними появился интерес к этнической истории, выполнявшей целый ряд функций как основа для консолидации, орудие сопротивления, символ тесной связи с родиной» [215, с. 201].

К значимым чертам национальной культурной памяти можно также отнести и милитаризацию мемориального контента (особую значимость нарратива войны, борьбы, освобождения и пр.), а также персонификацию памяти, то есть идентификацию прошлого в большей степени через «историю людей», чем «историю событий» (А. Ассман).

Совершенно очевидным является тот факт, что прошлое для чеченского народа не прошло в полном смысле этого слова: «Так и не

получившее однозначной оценки со стороны российских интеллектуалов это «негативное прошлое» продолжает отдаваться острой болью в сознании тех северокавказцев, которые либо сами, либо через своих предков пострадали от несправедливостей режима» [215, с. 142]. То есть, с одной стороны, причины такого темпорального склеивания кроются в отсутствии своевременной, профессиональной, взвешенной рефлексии (не публичного массового покаяния, а именно справедливой оценки) со стороны российского профессионального исторического сообщества. С другой стороны, с момента наиболее травмирующих событий (депортация и войны 90-х годов прошлого века) прошло еще настолько мало времени, что прошлое, по словам Т. Адорно, не успело проработаться, его причины – осмыслиться, а его чары – прекратить свое действие [2].

Обозначенные черты культурной памяти чеченцев нашли свое отражение и в мемориальной политике, осуществляемой Чеченской республикой в настоящее время. Мемориальная политика в нашей интерпретации – это система государственных ресурсов, в том числе финансовых, правовых, административных, целью практического использования которых является формирование определенного образа прошлого и выбор способов его репрезентации в пространстве актуальной культуры. Иными словами – это совокупность государственных усилий по позиционированию, продвижению, популяризации определенного образа прошлого с помощью различных инструментов и механизмов (мемориальных медиумов). Сегодня мемориальная политика Чечни только оформляется как отдельное направление культурной политики, однако в данном направлении государственного регулирования можно отчетливо увидеть определенные тренды и векторы. В частности, особенное внимание уделяется формированию идейно-концептуальных аспектов мемориальной политики (то есть тех идеологических установок, которые лежат в основе позиционируемой картины прошлого и исторических представлений) и ее нормативно-правовых оснований (формирование новой и совершенствование

существующей юридической базы в сфере мемориальной культуры). На этот базис нанизываются другие, более частные, но не менее значимые направления, связанные с обоснованием роли религии, языка, культурного наследия, туристического потенциала, национальных традиций и обычаев и др. как важнейших составляющих национальной идентичности чеченского народа.

В целом особенностями современной мемориальной политики Чеченской республики являются:

1. Преобладающая роль государства как инициатора источника, регулятора, юридического и материального гаранта мемориальных усилий;

2. Понимание мемориальной политики как условия формирования и укрепления национальной идентичности, которая, с одной стороны, должна опираться на традиционную культуру, ценности, обычаи, уклад, а, с другой – адаптироваться к новым, послевоенным и посткризисным условиям жизни.

3. Системность, то есть стремление использовать максимально продуктивно ресурсы всех мемориальных акторов и медиумов, включить в сферу внимания максимально возможное количество направлений мемориальной деятельности.

4. Созидательный характер мемориальной политики, то есть культивирование конструктивного потенциала прошлого, истории, национальных традиций (исключение составляет лишь один из пунктов старой, уже не действующей редакции 2007 года «Концепции государственной национальной политики Чеченской Республики», посвященный реабилитации жертв депортации чеченского и ингушского народа 1944 года).

5. Масштабность: транскультурность и трансрегиональность. Транскультурность понимается нами как включение в сферу мемориальных усилий Чечни не только собственного, национального прошлого (истории, культуры, языка, традиций), но локально национального (малых народов, проживающих на территории республики), общероссийского и

общемирового прошлого. Трансрегиональность подразумевает распространение целей, задач, содержания мемориальной культуры не только на представителей чеченского народа, проживающих на территории Чеченской Республики, но и на чеченцев, проживающих за ее пределами.

6. Адапционность (посттравматичность) – ориентированность мемориальной политики Чеченской Республики на преодоление системного кризиса 90-х годов прошлого века, связанного не только с кризисом национальной идентичности, но и с социокультурными потрясениями более конкретного плана (разрушение памятников культуры, музеев, утрата музейных фондов, нарушение функционирования социокультурной инфраструктуры и пр.).

7. Концептуальная рандомность, то есть отсутствие отдельного официального документа (концепции, стратегии, программы и пр.), регламентирующего целенаправленную, разноуровневую, верифицируемую деятельность государства в сфере мемориальной культуры.

Уровень официальной документации, регламентирующей государственный усилия в мемориальной сфере, с одной стороны, формирует актуальную мемориальную повестку, а, с другой – фиксирует уже сложившиеся тренды в сфере интерпретации прошлого. Такие тренды отражаются, прежде всего, в пространстве мемориального нарратива, то есть конвенциональных стратегий осмысления и репрезентации образа прошлого. Главными трансляторами мемориального нарратива являются как отдельные личности (лидеры мнений – политики, общественные деятели, ученые и пр.), так и целые институции (общественные организаторы, СМИ, система образования и пр.). В рамках диссертации мы проанализировали специфику мемориального нарратива на примере публичных текстов (Послания, интервью, статьи и др.) политического и во многом идеологического лидера современной Чечни – ее президента Р. Кадырова.

Данный анализ позволяет говорить о том, что прошлое интерпретируется в двух равнозначных ракурсах: как прошлое историческое

(посредством апелляции к истории Чечни, ее трагическим и героическим страницам) и как прошлое символическое (этногенетический центр, источник национальной силы, вековых традиций и обычаев, национального характера, культурного уклада и пр.). Обоим ракурсам соответствует специфический характер их вербализации – строгий, терминологически выверенный в первом случае и метафорический, образный – во втором. Благодаря такому объемному пониманию прошлого достигается обращение к предельно широкой по мировоззренческим, ценностным, политическим, интеллектуальным, профессиональным и даже возрастным параметрам целевой аудитории; максимально полное использование созидательного потенциала прошлого – и как пространства конкретного опыта, и как источника идентичности, и как ресурса национальной силы.

В качестве главных мемориальных акторов выступает как государство в целом, так и его конкретное воплощение в лице первого Президента Чеченской Республики А.-Х. Кадырова, преемственность управленческому курсу которого является главным доказательством и общетемпоральной преемственности. Таким образом, подобно тому, как отец завещает свой опыт, мудрость, ценности, знания сыну, Президент А.-Х. Кадыров завещал определенный путь государственных преобразований Президенту Р. Кадырову, в лице которого настоящее выступило наследником прошлого.

При этом стоит отметить, что в целом официальные тексты Р. Кадырова не носят ретроориентированный характер, а, напротив, отражают нацеленность на актуальность и будущие преобразования. Именно поэтому, хотя в проанализированных материалах и встречается эмоционально-позитивная оценка прошлого (как «золотого века», как времени истоков, как период меньше социальной и национальной напряженности), тем не менее, в целом оно оценивается, скорее нейтрально, как источник настоящего и важного опыта. В этом смысле можно говорить о темпоральном паритете как о важнейшей особенности мемориального нарратива.

Мемориальный нарратив, как мы неоднократно говорили выше, является ядром мемориальной культуры, ее идейно-ценностным эпицентром, от которого отходят «волны» различных форм мемориальной деятельности, как неофициальной, так и официальной. В рамках данной главы мы проанализировали два направления официальной мемориальной деятельности, разные по содержанию, инструментам репрезентации образа прошлого, формам выражения, но объединенные регламентированным, организованным характером, непосредственной связью с государственными усилиями и интересами в сфере мемориальной политики (как на уровне, собственно, мемориальной политики, так и на уровне финансирования).

Первое направление – мемориальный нейминг, то есть практика наименований урбанистических объектов и элементов городской или шире – селитебной среды: улиц, проспектов, площадей, мостов и пр. в честь знаковых деятелей и событий прошлого. Основные специфические особенности современного чеченского мемориального нейминга отражают более общие особенности мемориальной культуры Чеченской Республики. Так, например, мемориальный нейминг совпадает (точнее фиксирует, закрепляет) с процессами масштабного и разновекторного обновления – и формирования новой идентичности, и формирования нового послевоенного уклада жизни, и формирования новой (восстановленной или созданной заново) городской среды (синхронизация урбанистического и идеологического обновления). Данные процессы обуславливают необходимость, с одной стороны, закрепления в городской топонимике примет новой реальности (новые государственные лидеры, герои, знаковые события), а, с другой – соблюдение принципов преемственности прошлого и настоящего (сохранение старых, советских названий), отсутствие революционно-радикального подхода к процессам наименования городских объектов. Особое внимание в мемориальном нейминге уделяется локальной истории и современности, которые проявляются в нацеленности на коммеморацию национальных героев, событий национальной истории,

местных традиций и т.п. На конкретно-содержательном уровне преобладают темы, связанные с военной, религиозной и спортивной сферами, отражающими смысл нохчо, своего рода чеченского кодекса чести.

Второе направление – мемориальное искусство на примере кинематографа. В связи с ограниченным объемом аналитического материала (за последние 15 лет в Чечне было снято всего 14 фильмов) он не был дифференцирован по признаку мемориального содержания, а анализировался в целом. Стоит подчеркнуть, что основные выводы, сделанные на основе анализа фильмов, в большинстве пунктов совпадают с теми, которые были получены в ходе осмысления мемориального нейминга – презентизм (акцентирование настоящего как наиболее значимого модуса времени), тематика-сюжетная ориентированность на национальный компонент (чеченская культура, история, обычаи и пр.), осознание идентификационного потенциала кинематографа как эффективного инструмента идейно-ценностной, ментальной адаптации к новым условиям жизни, как механизма сохранения и пополнения объема коллективной памяти. Специфическими по сравнению с мемориальным неймином чертами современного чеченского кинематографа являются черты, обусловленные, прежде всего, особенностями его выразительного языка и художественной природой – событийность и сложный (смешанный, драматичный) эмоциональный контекст репрезентации образа прошлого.

При этом, чеченские кинематограф, равно как и мемориальный нейминг и в целом мемориальная политика, ориентирован на нивелирование, смягчение (но не забвение) травматичных переживаний прошлого, на равно активное обращение как к драматичным, так и радостным событиям истории и современности. О такого рода дуалистичности мы говорили в контексте общих особенностей культурной памяти чеченского народа. В данном контексте этот тезис нашел еще одно свое подтверждение.

Глава III. «Социальный» уровень современной мемориальной культуры Чеченской Республики: культурологическая диагностика когнитивного и деятельностного элементов

3.1. Персонифицированное и топографическое измерения современной мемориальной культуры Чеченской Республики⁷

Структура мемориальной культуры, как мы отмечали выше, складывается из самых разнообразных элементов, как официально-регламентируемого плана, так и стихийно-неофициальных. Гармоничность мемориальной культуры во многом определяется, во-первых, сосуществованием обоих уровней, отсутствием резко выраженного противостояния между ними (в идеале – достижением ценностно-смыслового консенсуса), а во-вторых, наличием высокой степени социальной разделяемости мемориального нарратива, т. е. официально транслируемой модели понимания прошлого.

Безусловно, мы далеки от мысли тотального принятия «генеральной линии партии» в мемориальной сфере всеми членами общества или подавляющим большинством. Прошлое, как правило, предстает настолько сложным и противоречивым, что его универсальное восприятие вряд ли возможно. Речь идет о неких общих, магистральных линиях совпадения основных идейных установок политики памяти, в концентрированном виде выраженных в мемориальном нарративе, и их социального одобрения; о конвергенции содержания национальной культурной памяти, транслируемой официальными каналами, и мемориальной идентичности членов общества.

⁷ В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографии автора: Современная мемориальная культура Чеченской Республики (теоретико-методологические и прикладные аспекты изучения). С. 140-174; Музейно-мемориальная карта современной Чеченской Республики: специфика и тренды. С. 215; Знаково-символический ландшафт города: мемориальный компонент (на примере г. Грозный). С. 100-105; Прошлое как созидательно-действенный ресурс: «что» и «для чего» хотят помнить современные чеченцы. С. 108-110; Топографическое измерение мемориальной культуры современной Чеченской Республики. С. 9-13.

Стоит отдельно подчеркнуть, что «визави» официальной мемориальной политики могут выступать не только стихийные, альтернативные, неофициальные формы мемориальной деятельности и стратегии толкования прошлого, но и так называемый неофициальный, социальный, низовой уровень мемориальной культуры, то есть «обычные люди», целевая аудитория политики памяти.

Поэтому в рамках данной главы мы ставим своей задачей рассмотреть второй аспект – вопросы, связанные с совпадением регламентированной мемориальной риторики и ее потребителей, с характером восприятия мемориального нарратива, эффективностью трансляции мемориальной повестки, ценностей и установок мемориальными медиумами. Однако эти вопросы связаны не только с вовлеченностью аудитории в институционализированные коммеморации, но и с ее «низовой» мемориальной активностью, с желанием и готовностью участвовать в локальных актах поминовения.

Такой, «низовой» уровень мемориальной культуры представлен двумя подуровнями (сферами воплощения): когнитивным (общие представления о прошлом, его персонифицированное и топографическое измерения) и деятельностным (личная и семейная мемориальная активность).

Обозначенные содержательные позиции будут рассматриваться нами на основании проведенного культурологического исследования, основным методом которого выступил метод глубинного интервью. Выборочная совокупность составила 90 человек. Квотными параметрами данного метода выступили: возраст (полный возрастной охват совершеннолетнего населения Чечни – от 18 до 82 лет), пол (мужчины и женщины в пропорции всего населения Республики – 50.6% и 49.4% соответственно), национальность (этнические чеченцы), локализация (проживание на территории Чеченской Республики).

Стоит подчеркнуть, что в рамках нашей диссертации мы изучали содержание представлений о прошлом (и о месте прошлого в настоящем),

распространенных именно среди этнических чеченцев, проживающих в месте формирования и бытования их национальной культуры и идентичности. Условно говоря, нам было важно выяснить, что чеченцы думают о собственном прошлом. Безусловно, важными и интересными каналами исследования выступило бы обращение и к другим группам респондентов (в ближайшем будущем мы планируем это реализовать) – чеченцам, проживающим за пределами Чечни, представителям «малых» кавказских народов, проживающих в Республике, соседям по Кавказскому региону и др. Признавая важность данных направлений, мы видим их в качестве ближайшей исследовательской перспективы.

И еще одно уточнение. Несмотря на то, что в интервью принимали участие представители всех возрастных категорий и обеих гендерных групп, при анализе ответов мы не акцентируем внимания на социально-демографической принадлежности респондентов. Это связано с тем, что нам не удалось установить четких корреляций между полом, возрастом и содержанием ответов респондентов.

Вопросы интервью представлены несколькими смысловыми блоками (блоки 1-4 раскрывают специфику когнитивного уровня мемориальной культуры, 5-8 – деятельностного):

1. Прагматичный статус прошлого: ресурсный потенциал прошлого; основные причины необходимости «проработки» прошлого, сохранения в национальной памяти значимых событий и личностей.

2. Аксиологический статус прошлого: ценность прошлого для настоящего и будущего; преимущества и уязвимые позиции в сравнении с другими модусами времени.

3. Личностно персонифицированная наполненность прошлого: репрезентация прошлого через знаковые имена и их деятельность.

4. Глобальная и локальная мемориальные карты: определение наиболее значимых мемориальных объектов в мировом и городском масштабах.

5. Персональная мемориальная активность: личная включенность респондентов в различные формы мемориальной деятельности.

6. Официально-коммеморативная активность: участие респондентов в разного рода официальных, государственно регламентированных мемориальных мероприятиях.

7. Семейная мемориальная активность: востребованность мемориальной активности в рамках семейного коллектива.

8. Виртуальные мемориальные практики: включенность респондентов в виртуальные формы мемориальной деятельности и оценка такого рода коммеморативной активности.

Прагматичный статус прошлого

Данный блок вопросов («Как Вы думаете, память о каких событиях истории Чечни прежде всего необходимо сохранять и передавать из поколения в поколение? Почему?») был ориентирован на определение конкретного мемориального контента, значимого для сохранения в анналах культурной памяти («что помнить?»), а также причин этой значимости («зачем помнить?»).

Причины необходимости сохранения значимых событий и явлений прошлого, высказанные респондентами, могут быть сгруппированы следующим образом:

1) превентивная причина: прошлое позволяет осмыслить пережитый трагический опыт, извлечь из него уроки и не допустить повторения ошибок в будущем;

2) прогностическая причина: прошлое является источником позитивного социального опыта, необходимого для моделирования и построения будущего;

3) коммуникативная причина: приобщение к наследию прошлого обеспечивает преемственность поколений, позволяет сохранить связь эпох;

4) социализирующая причина: прошлое, наполненное героическими страницами и подвигами великих людей, выступает в роли нравственного

ориентира для молодого поколения, ресурсом позитивных примеров для подражания, источником дидактических императивов;

5) компаративная причина: трагическое прошлое контрастно, доступно, эмоционально «отзеркаливает» благополучное настоящее, предоставляя для сравнения картину того, «как было», и того, «как есть сейчас» («Прошлое нужно помнить, чтобы ценили спокойную жизнь, знали, сколько для этого пролито крови»);

6) когнитивная причина: знание прошлого позволяет восстановить историческую справедливость («Надо знать, кто виноват в трагедии народа»).

Стоит подчеркнуть, что все обозначенные причины в целом апеллируют не столько к значимости прошлого самого по себе, как некоего темпорального ресурса, сколько к его значимости для настоящего и даже чаще – будущего. В этом контексте прошлое рассматривается как база, условие актуальности. Кроме того, прошлое (точнее, извлеченные из него уроки) дает надежду на построение «идеального мира», общества, усвоившего все уроки и ошибки истории и способного не допустить их вновь. Данная позиция также объединяет «обычных чеченцев» и официальную мемориальную риторику, в рамках которой, как отмечалось выше, транслируется понимание прошлого не как самоценности, а как основы формирования настоящего и будущего.

Об актуализированном характере прошлого (и на уровне сохраняемого мемориального контента, и на уровне его функционала, и на уровне методологии его изучения) писали и пишут практически все исследователи, кто так или иначе связан с *memory studies* – Ф. Артог, Я. Ассман, А. Ассман, Ж. Ле Гофф, А. Мегилл и мн. др. Характерна в этом контексте цитата одного из основоположников французской школы Анналов Л. Февра: «Человек не помнит прошлого – он постоянно воссоздает его. Это касается и такой абстракции, как отдельный человек, и такой реальности, как человек, являющийся членом общества. Он не хранит прошлого в своей памяти

подобно тому, как северные ледники тысячелетиями хранят в своей толще замерзших мамонтов. Он исходит из настоящего – и только сквозь его призму познает и истолковывает прошлое» [196, с. 21–22]. Аналогичную мысль высказывают и И. М. Савельева и А. В. Полетаев: «Настоящее формирует избирательное отношение к прошлому, выделяя исторические эпохи, события, личности, придавая им позитивную или негативную ценностную окраску. Значение имеет не только общая оценка минувшего, но и сам набор элементов, составляющих его образ...» [172, с. 372]. По словам Я. Ассмана, прошлое – это моделируемый конструкт, определяемый задачами настоящего, и «от него остается только то, что общество в ту или иную эпоху способно воссоздать в своих нынешних референциальных рамках... оно реорганизуется сменяющимися рамками движущегося вперед настоящего» [20, с. 42].

Аксиологический статус прошлого

Ответы на вопрос «Важно ли в условиях быстро меняющегося мира, в условиях новаций и технологического процесса помнить свое, чтить прошлое, героев, национальные традиции и обычаи? Почему?» в некоторой степени конкретизируют, дополняют, обобщают ответы респондентов на вопрос о важных для сохранения в памяти исторических событиях. Однако в данном случае речь шла о значимости прошлого не столько в историческом, сколько в феноменологическом плане, о его преимуществах и «недостатках» в сравнении с иными модусами времени. Акцент также делался на антитезе прошлого и будущего, традиции и прогресса, привычного уклада жизни и темпорального ускорения современности.

В целом все респонденты (кроме одного) отметили значимость сохранения памяти о прошлом, героях минувших эпох, традициях и обычаях чеченского народа. В данном контексте прошлое рассматривается прежде всего следующим образом:

1. Основное и важнейшее условие сохранения национальной самобытности, этнической идентичности: «Если не сохранять традиции, то

народ может утратить свои национальные черты... Если в рамках страны не будет своей культуры, то люди станут активно перенимать устои, которые сформировались в других государствах. В этом случае легко будет потерять самобытность народа»; «Забывая наш исконный менталитет, мы грозимся раствориться в безликом обществе, ведь если умрет история, то умрет и народ»; «Обязательно нужно помнить историю, изучать язык, передавать из поколения в поколение традиции и добрые национальные обычаи. Все это должно помочь избежать потери национально-этнической самоидентификации».

Я. Ассман, один из родоначальников европейских мемориальных исследований, отмечал устойчивую закономерность в восприятии прошлого различными социальными группами: чем меньше группа по численности, тем острее она ощущает потребность в акцентировании собственной уникальности и непохожести на иные группы, тем сильнее роль дифференцирующей функции памяти, тем эффективнее она используется как идентификационный ресурс.

2. Способ противостояния прогрессу (в ответах респондентов он часто фигурирует в негативных коннотациях – как нечто противоположное стабильности, преемственности, национальной уникальности), глобализационным и унификационным процессам, усилению технократических тенденций: «В быстроменяющемся мире, где во главу угла поставлены технологии, необходимо сохранять национальные обычаи, традиции и нравы, транслировать их для подрастающего поколения, которое должно стать их проводником в будущее»; «Очень важно качественно сохранять коммуникацию между поколениями, так как именно эта связь служит определяющей в сохранении национальной истории, культуры и традиций».

В целом прошлое воспринимается как важнейший ресурс актуального развития и противостояния всем угрозам современности, наиболее адекватным ответом на которые может и должна стать национальная

культура, консолидирующая, укрепляющая чеченское общество. Обращение к прошлому способно замедлить процессы тотального ускорения и стирания национальной специфики, нивелировать разрушительные для национальной самобытности процессы глобализации. Интересно отметить, что респонденты были единодушны в понимании прошлого именно не столько как исторического наследия, сколько как культурной (языковой, религиозной) традиции, как наследия чеченского народа.

Наиболее емко совокупную позицию респондентов выразил, на наш взгляд, ответ одного из участников интервью: «Мир меняется, а чеченцы должны оставаться чеченцами».

Личностноперсонифицированная наполненность прошлого

Данному блоку соответствовал вопрос интервью: «Если бы Вам предложили выбрать три исторических личности, в честь которых будут названы улицы или населенные пункты, кого бы Вы выбрали и почему?»

В предыдущей главе мы уже отмечали такую особенность мемориальной культуры чеченцев, как ее персонифицированность, т. е. репрезентация прошлого осуществляется не только через событийный контент, но и через конкретных героев, личностей, с которыми ассоциируются славные страницы чеченской истории. Эта черта нашла свое отражение и в мемориальном нейминге, и в мемориальном нарративе (официальная мемориальная риторика), и в мемориальном кинематографе.

Выдающиеся личности всегда играли важнейшую роль в структуре культурной памяти, поскольку, во-первых, они позволяют предельно ярко и конкретно проиллюстрировать наиболее значимые содержательные моменты коллективного образа прошлого; во-вторых, они задают нравственные ориентиры для всех последующих поколений, визуализируют направления и цели социализации. По мысли С. Чарновского, польского историка-кельтолога, «герой является олицетворением социальной общности, воплощением ее важнейших ценностей; его культ носит публичный,

организованный и регулярный характер. При помощи этого культа группа утверждает свое существование и специфичность» [44, с. 59].

При проведении глубинного интервью мы решили выяснить, какие именно выдающиеся личности прошлого воплощают в себе ценности современной мемориальной культуры Чеченской Республики.

Таблица 1

Персонализация мемориальной культуры

№	ФИО	Годы жизни	Сфера деятельности	Кол-во голосов
1	А.-Х. Кадыров	1951–2004	Политика, религия, общественные отношения	35
2	Шейх Мансур	1760–1794	Военная сфера, религия, политика	16
3	Б. Беноевский	1794–1861	Военная сфера	9
4	Р. А. Кадыров	1976	Политика	9
5	М. А. Эсамбаев	1924–2000	Сфера культуры	8
6	З. Гушмазукаев	1872–1913	Общественные отношения	6
7	А. А. Айдамиров	1933–2005	Сфера культуры	5
8	Х. Н. Нурадилов	1922–1942	Военная сфера (Великая Отечественная война)	5
9	К.-Х. Кишиев	1800–1867	Религия	3
10	М. А. Висаитов	1913–1986	Военная сфера (Великая Отечественная война)	3
11	Герои Великой Отечественной войны в целом	–	-	2
12	Родные и близкие	–	-	2
13	М. Г. Гайрбеков	1913–1971	Общественные отношения, политика	2
14	П. З. Захаров-Чеченец	1816–1846	Сфера культуры	2
15	Ю. Д. Дешериев	1918–2005	Наука	2
16	Ю.-Х. Ш. Темирханов	1972–2018	-	2
17	Б. Таймиев	1779–1832	Политика	2
18	А. Кадырова	1998	Сфера культуры	2
19	А. Д. Шерипов	1897–1919	Политика	2
20	М. Х. Мазаев	1908–1942	Военная сфера (Великая Отечественная война)	1
21	З. М. Багалова	1945	Сфера культуры	1
22	А. М. Шахбулатов	1937–1992	Сфера культуры	1

№	ФИО	Годы жизни	Сфера деятельности	Кол-во голосов
23	С. Н. Хаджиев	1941–2018	Политика, производство	1
24	А. С. Сулейманов	1922–1995	Сфера культуры, наука	1
25	А.-Х. Х. Хамидов	1920–1969	Сфера культуры	1
26	А. М. Хасбулатов	1942	Политика	1
27	А. Н. Чеченский	1780–1834	Военная сфера	1
28	М. А. Мамакаев	1910–1973	Сфера культуры	1
29	М. А.-В. Умаров	1921–1943	Военная сфера (ВОВ)	1
30	А. Идрисов	1918–1983	Военная сфера (ВОВ)	1
31	Х. Ч. Дачиев	1922–2001	Военная сфера (ВОВ)	1
32	Л. Я. Насуханова	1939–2000	Военная сфера	1
33	А. Б.-Г. Митаев	1881–1925	Политика	1
34	Т. Э. Эльдарханов	1870–1934	Политика	1
35	А. В. Суворов	1730–1800	Военная сфера	1
36	С. С. Бицираев	1954	Сфера культуры	1
37	А. Г. Авторханов	1908–1997	Сфера культуры, наука	1
38	Шоип-Мулла	1804–1844	Военная сфера	1
39	Пророк Мухаммад		Религия	1

Первые пять наиболее популярных позиций наглядно демонстрируют приоритеты респондентов в сфере персонификации мемориальной культуры.

Во-первых, доминирование героев, связанных с военно-политической и религиозной сферами. По мысли В. Х. Тхакахова, милитарная (военная) и религиозная составляющая представляют собой основу современной чеченской идентичности (он выделяет и третий компонент – спортивный, который не нашел отражения в результатах исследования) [191, с. 44].

Исследователь полагает, что милитарная идентичность, которую он также называет «Путем война», является своего рода данью памяти традиционному военному искусству вайнахов; демонстрацией неослабевающей значимости военных навыков и связанных с ними личных качеств (мужество, смелость, отвага и пр.); одной из самых престижных форм социальной сопринадлежности.

Говоря о персонализации милитарной мемориализации, В. Х. Тхакахов указывает на то, что она «охватывает и героев-мятежников, и героев-мстителей досоветского периода – лидеры восстаний, абреки и т.п. Сюда же

политика идентичности включает воинов чести, храбрости и славы (герои Первой и Второй мировых войн, а также военных, чеченцев по происхождению из зарубежных стран)» [191, с. 42].

Что касается религиозной идентичности, то она интегрирует традиционные для чеченского народа религиозные символы, практики, ценности, культовую инфраструктуру, позволяющую воспроизводиться идеям ислама в чеченском обществе.

Во-вторых, синтетическая природа героизма. Выбранные личности характеризуются равнозначными достижениями в различных сферах (военной, общественной, политической и др.), воплощая в себе тип человека-универсала, разносторонне развитой и одаренной личности.

В-третьих, темпоральный баланс, т. е. паритетное распределение героев по разным историческим эпохам. Названные личности относятся практически в равной степени и к далекому прошлому (XVIII – XIX вв., начало XX в.), и к прошлому недавнему (советский период), и настоящему (с 90-х гг. прошлого столетия). Этим подтверждается особенность национальной культурной памяти и мемориальной политики, о которой мы говорили выше, – стремление к построению неразрывного темпорального и ценностного пространства, основанного на идеях преемственности истории, ценностей, поколений.

Герои далекого прошлого в этом контексте служат нравственными маяками, освещающими истоки национальной истории и позволяющими оценить ее древность, глубину, сложность и значимость для настоящего. Герои недавнего прошлого и настоящего, с одной стороны, встраиваются в общеисторический нарратив, позволяют наглядно увидеть жизнестойкость традиционных ценностей и преемственность эпох, а с другой – своей деятельностью, своими подвигами и достижениями воплощают идею «светлого будущего», движения вперед, дают надежду на преодоление всех трудностей и проблем, с которыми на разных этапах своего развития сталкивался чеченский народ.

О такой особенности современной мемориальной культуры Чечни писал В. Х. Тхакахов, полагавший, что специфика чеченского проекта исторической политики заключается в том, чтобы «создавать и придерживаться стратегии единой истории вайнахов: отечественной и зарубежной, дореволюционной, советской и постсоветской. Налицо явное стремление поддерживать практики примирения с прошлым, особенно с тем, которое советская история и историки табуировали или же подвергали исключениям» [191, с. 42].

В-четвертых, гражданственность как ключевой фактор выбора героев. Сами ответы участников опроса позволили сделать вывод о том, что выбор тех или иных героев был продиктован прежде всего их патриотичностью, служением на благо Родине, мужественностью и проявленной отвагой. Все эти качества для респондентов значимы не только сами по себе, но и как основа воспитания будущих поколений, как наглядный пример воплощения в жизнь национального кодекса чести.

Сами респонденты так поясняют выбор героических личностей:

1. Ахмат-Хаджи Кадыров (российский и чеченский государственный, политический и религиозный деятель; с 1995 по 2000 г. занимал должность муфтия Чеченской Республики Ичкерия; первый Президент Чечни; Герой России): «за несгибаемую стойкость и борьбу за чеченский народ», «остановил войну и навел порядок в республике», «он смог остановить войну, жертвуя своей жизнью»;

2. Шейх-Мансур (военно-политический, религиозный деятель; военачальник, исламский проповедник, первый имам Северного Кавказа): «великий патриот», «верил в свой народ»;

3. Байсангур Беноевский (военачальник, активный участник Кавказской войны; наиб Беноевского общества, имам Чечни): «будучи одноруким, одноглазым, никогда не просил о жалости», «был храбрым воином и любил свой народ»;

4. Рамзан Ахматович Кадыров (российский и чеченский общественный, политический военный деятель; участник Второй Чеченской войны; Президент Чеченской Республики; Герой России): «каждая минута его жизни направлена во благо своего народа», «при нем стало возможно жить спокойно»;

5. Махмуд Алисултанович Эсамбаев (советский чеченский артист балета, хореограф, актер): «оставил неопределимый след в искусстве», «он стал человеком мира», «представлял в своем лице чеченский народ», «жил гордо и возвышенно... даже на Съездах СССР он не снимал чеченскую папаху».

В-пятых, доминирование национального (регионального, этнического) компонента в структуре персонализированного компонента мемориальной культуры. Как видно из табл. 1, подавляющее большинство названных героев – это этнические чеченцы, непосредственным образом связанные с военной историей Чечни, ее политической и общественной сферой, сферой религиозных отношений, с национальной культурой и наукой. Исключение составил А. В. Суворов, однако сам выбор данной личности можно объяснить, вероятно, его выдающимися достижениями в сфере военной науки и практики.

Рассмотрение в целом героических ориентиров мемориализации сквозь призму профессионально-деятельностного аспекта позволяет увидеть следующие закономерности (табл. 2).

Таблица 2

**Героические ориентиры мемориализации:
профессионально-деятельностный аспект**

Сфера деятельности				
Военная	Политика и общ. отношения	Религия	Культура и наука	Производство
<i>Число названных «героев»⁸</i>				
12	11	4	11	1

⁸ Герои, относящиеся к разным сферам деятельности, вносились в соответствующие ячейки несколько раз.

Во-первых, устойчивое доминирование военной и общественно-политической принадлежности героев, что подтверждает тенденцию, обозначенную нами выше (исключение составляет религиозная сфера, представленная в «чистом виде» лишь четырьмя героями, которые тем не менее оказались максимально востребованными в ответах респондентов). Довольно популярной стала также и категория, связанная со сферой культуры и науки, однако герои данной категории были названы лишь отдельными респондентами (поэтому по числу упоминаний ее нельзя назвать лидирующей).

Во-вторых, наличие устойчивых «героических» доминант – общее единодушие в выборе значимых для мемориализации личностей с точки зрения их принадлежности к той или иной сфере.

В-третьих, универсализм, т. е. выбор героев, которые в равной степени проявили себя сразу в нескольких «профессиональных» сферах. Например, военной, общественной, политической и религиозной или политической и производственной.

Топографическое измерение мемориальной культуры: глобальный ракурс

Топографическое измерение коллективной памяти, места памяти (в нашем исследовании оно было связано с вопросами: «Если бы Вам предложили посетить какое-либо памятное место (любое в мире), какое бы Вы выбрали? Почему?»; «Назовите, пожалуйста, места в Вашем городе, которые связаны с практиками поминовения (например, где можно зажечь свечи в дни траура, возложить цветы и т.п.)»), занимало особое место в исследованиях П. Нора и всего его научного коллектива. Безусловно, в концепции французского ученого места памяти интегрируют не только собственно «места», но и иные мемориальные феномены, а именно – «всякое значимое единство, материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени превратили в символический элемент наследия памяти некоторой общности» [134, с. 79].

К местам памяти П. Нора относил, например, архивы, публичные коммеморации, поминальную риторику, историческую литературу и мн. др. Однако общим для всех мест памяти является то, что они призваны законсервировать живое течение времени, запечатлеть содержание памяти, нивелировать темпоральный разрыв, их фантомность (замещение реального прошлого). Последний аспект представляется особенно интересным, поскольку он позволяет уловить двойную (собственно мемориальную и знаково-символическую) природу мест памяти.

Места памяти – это не просто некая материально закреплённая форма фиксации представлений о событиях, явлениях, деятелях прошлого. Это целая вереница смыслов и ценностей, стоящих за ней. Поэтому выбор некоего «места» как объекта мемориализации может считаться важным симптомом развития мемориальной культуры в целом.

В современных *memorystudies* понятие «места памяти» нередко подвергается критике за его однозначность, непластичность и жесткую привязку к нации как их генератору и охранителю. Поэтому М. Ротберг, Д. Саньял и М. Сильверман предложили, не отказываясь от концепции П. Нора полностью, дополнить ее таким понятием, как «узлы памяти» (о данной концепции мы уже упоминали), отличающимся «поливалентностью, подвижностью, открытостью и неоднозначностью» [Цит. по: 44].

В контексте нашего исследования понятие мест памяти, интерпретированное в духе П. Нора, является вполне рабочим и уместным, именно в силу того, что мы рассматриваем его в конкретных и довольно жестких смысловых рамках, в контексте национальной, этнической памяти чеченского народа, а не сквозь призму анализа ее транслокального бытования.

Вопросы данного блока глубинного интервью коррелируют с проанализированными нами ранее трендами мемориального нейминга.

Напомним, что, согласно мнению В. Х. Тхакахова, современный чеченский нейминг фиксирует доминирование военного, религиозного и

спортивного компонентов национальной идентичности. В случае с персонификацией мемориальной культуры этот тренд сохранил свою востребованность (за исключением спортивной составляющей). В случае с ее топографической составляющей (табл. 3) также можно говорить о доминировании религиозной и военной тем.

Таблица 3

**Топографические характеристики мемориальной культуры
(глобальный масштаб)**

№	Памятное место	Кол-во голосов
1	Мекка, Медина, Кааба	41
2	Мамаев курган	5
3	Брестская крепость	5
4	Франция (Париж, Лувр, Триумфальная арка)	4
5	Египет (пирамиды)	4
6	Колизей	4
7	Памятные места Чечни	4
8	Мемориальные места, связанные с А.-Х. Кадыровым (памятник, музей, Медресе Мири Араб – в Бухаре)	3
9	Турция (мечети)	3
10	Могила пророка Мухаммада	3
11	Иерусалим	3
12	Санкт-Петербург	3
13	Древний город Хой	3
14	Могилы павших воинов	2
15	Город Петра	2
16	Иордания	1
17	Поклонная гора	1
18	Тадж-Махал	1
19	Куликово поле	1
20	Лондон	1
21	Огненные врата в Греции	1
22	Великая Китайская стена	1
23	Мечеть «Сердце Чечни»	1
24	Могила И. Канта	1

На основании данных табл. 3 фиксируются следующие мемориальные тренды.

Во-первых, тотальное доминирование религиозного топографического компонента в структуре мемориальной культуры. Самым популярным, выбранным около 50% респондентов, стал ответ, связанный с сакральным для мусульман паломничеством в Мекку. Если к этому ответу добавить все ответы, связанные с религиозными объектами (Могила Пророка Мухаммада, мечети и пр.), то востребованность этого ответа увеличится до 57%. Специфика этого топографического объекта заключается в его нетуристической, культовой природе, подразумевающей сложность и многоступенчатость не только самого акта его посещения, но и подготовительного этапа. «Встреча» с данным мемориальным объектом начинается за тысячи километров от него с внутреннего, духовного настроя и особой нравственной работы.

Если ориентироваться на типологию мест памяти П. Нора, то выбранный респондентами объект мемориализации в равной степени относится к типу доминирующих и доминируемых. Доминирующие объекты связаны с массовым обращением к ним, с регламентированностью самого коммеморативного акта, его официальным характером и парадностью («триумфальностью»). Доминируемые – напротив, выступают своего рода «местами-убежищами», «святилищами спонтанной преданности и безмолвных паломничеств», «живым сердцем памяти» [134, с. 47–48]. Посещение их является результатом самостоятельного выбора, желания, духовной потребности, не подразумевает участия в специально организованных, коллективных коммеморативных действиях и ориентировано главным образом на интимное восприятие.

На второй позиции оказались военно-мемориальные объекты – Мамаев курган и Брестская крепость, призванные увековечить память о Великой Отечественной войне. Стоит также отметить, что среди мемориальных объектов значимое место занимают отдельные города (Санкт-Петербург, Иерусалим, Лондон) и страны (Египет, Франция).

Это позволяет говорить, во-вторых, о том, что в целом обозначенные мемориальные места носят внетемпоральный характер, не привязаны к конкретной исторической эпохе, событию или личности, а представляют собой знаковые мемориальные пространства, интегрирующие в себя целый комплекс коллективных воспоминаний и мемориальных объектов, практик, ритуалов. Это в равной степени справедливо и по отношению к Мекке, воплощающей в себе не конкретный объект паломничества, а значимый религиозно-символический мир, включающий и знаниевую, и ритуально-обрядовую, и ценностно-нормативную и многие другие стороны. Это справедливо и в отношении отдельных стран и городов, которые являются мемориально-презентационной площадкой для разных эпох, религий, великих людей и событий.

В-третьих, экстериторный характер обозначенных объектов – подавляющее большинство из них находятся за пределами Чеченской Республики. Это связано не столько с низким уровнем интереса к собственным, национальным знаковым мемориальным объектам, сколько с высокой степенью их изученности и желанием «съездить куда-то еще», «посмотреть мир», «свое видели – надо и другое узнать». При этом стоит отметить один интересный момент. Самый востребованный объект – Мекка (Медина, Кааба) не воспринимается респондентами как нечто дистанцированное от них. Напротив, многие участники опроса говорили о том, что паломничество в Мекку – это естественное продолжение пути духовного освоения знаковых мусульманских объектов, начало которого положено в Чечне. В этом смысле территориальная удаленность объекта мемориализации не тождественна духовной удаленности от него.

Таким образом, в данном случае мы можем говорить о существовании особого типа топографическо-мемориальной карты, на которой доминирует религиозный объект (Мекка, Медина, Кааба), воплощающий в себе образы духовного пути, развития, очищения, служения, реально находящийся вне

территории проживания респондентов, но символически являющийся частью их ценностного пространства.

Топографическое измерение мемориальной культуры: локальный ракурс

Следующим этапом исследования стало заполнение мемориальной карты на локальном уровне, т. е. фиксация значимых мемориальных мест, ограниченных границами родных для респондентов городов. Ответы на данный вопрос представлены в табл. 4.

Таблица 4

**Топографические характеристики мемориальной культуры
(локальный масштаб)**

№	Памятное место	Кол-во голосов
1	Мемориальный комплекс Славы им. А.-Х. Кадырова	29
2	Культовые учреждения (церкви, мечети)	7
3	Памятник Н. Гикало, А. Шерипову и Г. Ахриеву	6
4	Мемориал погибшим в борьбе с терроризмом	6
5	Вечный огонь	5
6	Грозный, пл. Ахмата Кадырова	5
7	Собственный дом	3
8	Памятник А.-Х. Кадырову	2
9	Стелла «Город воинской славы»	2
10	Музей А.-Х. Кадырова	2
11	Национальный музей Чеченской Республики	1
12	Памятник М. Висаитову	1
13	Мемориал жертвам депортации 1944 г.	1

Изучение мемориально-знаковой атрибуции городской среды важно с двух позиций.

Во-первых, с урбанистической, поскольку позволяет увидеть точки символического, культово-ритуального притяжения жителей к городской среде, городские «места силы» для его жителей. По мысли Р. В. Евстифеева, «изучение локальной топонимики и оценка значимости, то есть ценности для коллективного сознания горожан, тех или иных точек и зон

городского/окрестного ландшафта позволяет определить одну из граней символического пространства города, увидеть городскую “индивидуальность”, видимую самими жителями города и предъявляемую реальным и виртуальным гостям» [55, с. 38].

Во-вторых, с идентификационной. Локальная (и шире – этническая, национальная) идентичность – понятие само по себе достаточно абстрактное, нуждающееся для понимания его сути и специфики в операционализации (выделении типологических критериев, признаков сформированности и пр.). Одним из путей осуществления такого рода операционализации является ее конкретизация через знаковые городские места и кластеры. Определение того, что топографически значимо для горожан, выявление мест, которые ассоциируются у них с коллективными или личными мемориальными актами – все это позволяет сделать выводы не только и не столько о мемориальной инфраструктуре города, сколько о ценностных ориентациях его жителей, об уровне их локальной лояльности, вовлеченности в общегородские процессы и т.п.

Методология изучения знаково-символического уровня городской идентичности разработана достаточно хорошо на примере различных городов и целых территорий. Ее суть сводится к определению (в соответствии с разными критериями) конкретных объектов городской среды, значимых для респондентов в том или ином контексте. Так, например, М. Л. Шуб реализовывала такую методологическую логику на примере индустриальных городов Южного Урала. Хотя ее исследование не было акцентировано на мемориальном компоненте, он, согласно представленным результатам [219, с. 132], оказался доминирующим.

По словам М. Л. Шуб, именно коммеморативность и ретроориентированность являются наиболее выраженными чертами локальной идентичности жителей индустриальной провинции. Первая проявилась в доминировании «мемориальных объектов (мемориальная скульптура и скульптурные композиции, музеи, этнопарки, историческая

застройка, иные памятники историко-культурного наследия) над объектами других типов (досуговыми, производственными, коммерческими, научно-образовательными и др.)» [219, с. 133]. Вторая – в преобладании «объектов, темпорально ассоциированных с прошлым (историческая застройка, памятники основателям городов и др.), главным образом с советским периодом страны... Прошлое играет огромную роль в формировании и поддержании национальной и локальной идентичности. Именно общие для группы представления о прошлом формируют стратегии ее социального поведения, способы интерпретации актуальной действительности, закладывают ценностные и нормативные коды существования» [219, с. 133].

Возвращаясь к результатам нашего исследования, стоит отметить, что в чеченских городах мемориальные объекты советского прошлого не являются доминирующими – преобладают те, которые были созданы в поствоенное (начало 2000-х гг.) время.

В целом же специфика локальной мемориальной карты позволяет выделить следующие **черты современной чеченской мемориальной культуры**.

Во-первых, дуализм публичности и интимности. Как видно из табл. 4, среди наиболее востребованных мемориальных мест были отмечены Мемориальный комплекс Славы имени А.-Х. Кадырова и различные культовые учреждения (мечети, церкви, синагога). Несмотря на то, что каждый третий участник интервью в качестве мемориально значимого объекта назвал Мемориальный комплекс, более половины респондентов специально отметили, что предпочтительными и приемлемыми для носителей традиционной чеченской культуры формами поминовения являются любые «закрытые», семейные, общинные, домашние практики, в том числе – посещение культовых мест, соответствующих вероисповеданию человека.

В данном случае мы вновь можем обратиться к делению мест памяти П. Нора на доминирующие и доминируемые и зафиксировать их

гармоничное сосуществование в пространстве чеченской мемориальной культуры.

Первые (например, Мемориальный комплекс, памятники, музейные комплексы, Вечный огонь и пр.) связаны с общегрупповыми памятными датами, с официальными коммеморациями и позволяют в мемориальном акте ощутить сопричастность отдельного человека к общему прошлому, коллективной памяти.

Вторые, частные, интимные, в большей степени продиктованы религиозными представлениями, традициями и обычаями чеченского народа и обусловлены частными поводами, главным образом потерей близких людей (но не только ими). К слову сказать, по мысли Э. Дюркгейма, именно похоронные обряды и могилы считаются исторически первыми коммеморативными ритуалами и местами памяти соответственно [44, с. 59].

Во-вторых, коллективистский характер мемориальной активности. Среди обозначенных мемориальных объектов практически все можно назвать символами групповой мемориальной идентичности. Вероятнее всего, это объясняется коллективистским характером самой чеченской культуры, сильными групповыми связями, потребностью в повседневной социальной консолидации.

В-третьих, доминирование военно-политического компонента в локальной мемориальной топографии. Эта особенность мемориальной культуры контрастно проявляется на всех уровнях нашего исследования. В данном случае девять из тринадцати названных объектов так или иначе связаны с военно-политической историей Чеченской Республики: Мемориальный комплекс Славы им. А.-Х. Кадырова посвящен памяти первого президента Чечни и победе в Великой Отечественной войне (также как памятник М. Висаитову и Вечный огонь), Мемориал погибшим в борьбе с терроризмом – памяти погибших в ходе контртеррористической операции в Чечне (милиционеров, представителей духовенства, глав администраций населенных пунктов Чечни), памятник Н. Гикало, А. Шерипову и Г. Ахриеву

– борцам за советскую власть и дружбе русского, чеченского и ингушского народов и т. п.

В-четвертых, консолидированность. Из 36 респондентов, давших ответ на обозначенный вопрос, 27 (75%) назвали один и тот же объект (Мемориальный комплекс Славы им. А.-Х. Кадырова). Это может объясняться, во-первых, масштабностью содержания, смыслового наполнения и пространственной организации самого объекта, его определяющим, доминантным положением на мемориальной карте Грозного. Во-вторых, отсутствием разнообразия мемориальных объектов в городской инфраструктуре. Но в любом случае это свидетельствует «о солидарности жителей, о совпадении их мнений, а значит, об отсутствии конфликта идентичности (большинство жителей отождествляют себя с одними и теми же местами, зданиями, пространствами и пр.)» [219, с. 134].

3.2. Мемориальная культура Чеченской Республики сквозь призму личной мемориальной активности чеченцев: персональная, коммеморативная, виртуальная, семейная формы бытования⁹

Как мы упоминали в предыдущем параграфе, личная мемориальная активность (т. е. различные формы вовлечения человека в мемориальную деятельность на персональном, семейном, официально-регламентированном, виртуальном и иных уровнях) является столь же важным направлением мемориальной культуры, что и официальная политика памяти. Ее содержание, формальное воплощение, уровень интенсивности выступают значимыми маркерами государственных усилий, предпринимаемых с целью формирования некоего консенсусного образа прошлого.

Для иллюстрации данной мысли позволим себе привести довольно объемную цитату А. Ассман, по мнению которой редуцирование мемориальной культуры исключительно до ее регламентированных, официозных форм – одна из наиболее острых методологических проблем мемориальных исследований в целом: «...когда вся мемориальная культура сводится к официальному уровню, складывается впечатление, будто в мемориальной культуре мы имеем дело исключительно с “театрализованной коммеморацией”, которую государство инсценирует для своих граждан.<...> Чтобы избежать этого, следует подробно рассмотреть “места памяти”, создаваемые по инициативе “снизу”. <...> Понятие мемориальной культуры охватывает нечто гораздо большее, нежели государственные мемориалы и выступления государственных функционеров или публичных политиков; она опирается на живую активность гражданского общества...» [17, с. 114–115].

⁹ В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографии автора: Современная мемориальная культура Чеченской Республики (теоретико-методологические и прикладные аспекты изучения). С. 174-214; Коммеморативная активность в структуре мемориальной деятельности жителей современного города (на примере г. Грозный). С. 78-82; Виртуальные тего-сообщества в структуре медиа-потребления (на примере Чеченской Республики). С. 265-269; Семья как мемориальный кластер (специфика мемориальной активности современной чеченской семьи). С. 149-155; Персональная мемориальная активность в структуре мемориальной деятельности (опыт культурологической диагностики). С. 67-79.

На конкретном, прикладном уровне исследования значимым представляется вопрос, ответ на который позволяет оценить не только эффективность официального мемориального дискурса, но и многие иные аспекты – от содержания идентичности до готовности к модернизации. Такой вопрос предельно точно сформулировала Г. Е. Гун: «В известном смысле институциональные формы мемориальности автономны по отношению к первоначальному порыву зафиксировать память о прошлом в материальных объектах. В связи с этим возникает вопрос, насколько сильна потребность в мемориализации? В какой степени институциональная сторона мемориализации соответствует реальной потребности в обнаружении индивидуальной и коллективной памяти?» [59, с. 49].

Собственно ответу на этот вопрос и посвящен блок вопросов, которые будут рассмотрены в данной части книги.

Для удобства исследования мы разделили возможные формы личной активности на несколько типов:

– персональная приватная мемориальная активность: личная включенность респондентов в различные формы мемориальной деятельности (вопросы интервью: «Скажите, пожалуйста, в каких практиках поминовения Вы участвовали в последнее время»);

– коммеморативная активность: участие респондентов в разного рода официальных, государственно регламентированных мемориальных мероприятиях (вопросы интервью: «В каких официальных мероприятиях, связанных с сохранением памяти о прошлом, Вы принимаете участие (парады, возложение цветов и пр.)?», «Какие общегосударственные и общенациональные праздники Вы отмечаете?»);

– семейная мемориальная активность: востребованность мемориальной активности в рамках семейного коллектива (вопросы интервью: «Какие формы сохранения памяти о прошлом характерны для Вашей семьи (поминовение умерших, составление генеалогического древа, чтение исторической литературы и т. п.)?», «Какие национальные традиции и

обычаи сохраняются в Вашей семье?», «Передаются ли в Вашей семье традиции, обычаи, знания об истории семьи и пр. Каким образом, в каких формах?»);

– виртуальные мемориальные практики: включенность респондентов в виртуальные формы мемориальной деятельности (вопросы интервью: «Состоите ли Вы в каких-то реальных или виртуальных сообществах, связанных с прошлым, историей, памятью и т. п. Если да, то в каких?», «Как Вы относитесь к тому, что создаются виртуальные кладбища, персональные страницы умерших людей и в целом – память об умерших людях получает виртуальную форму?»).

Под *персональной мемориальной активностью* мы понимаем различные по форме, мотивации, интенсивности, характеру инициативности варианты включенности человека в мемориальную деятельность. В данном случае речь идет именно об индивидуальном погружении в процессы мемориализации в противовес, например, семейной мемориальной деятельности, при которой групповое участие является обязательным условием ее реализации. Персональная мемориальная активность не замыкается исключительно на частных или индивидуально организованных форматах. Она в равной степени может выражаться в участии в публичных, официальных мероприятиях, в приобщении к мемориальному волонтерству или стихийным актам поминовения.

На сегодняшний день можно констатировать явное доминирование исследовательского интереса к проблемам культурной памяти, коммемораций, публично-регламентированных форм мемориализации. При этом не менее значимые аспекты личной мемориальной активности находятся если не в тени, то на периферии титульной мемориальной проблематики.

Нередко частную мемориальную активность исследователи называют стихийной мемориальной деятельностью или стихийными коммеморациями. На наш взгляд, такое отождествление не вполне

корректно, поскольку последние выступают лишь одним из видов частной, приватной мемориальной деятельности, наряду с такими видами, как: посещение кладбищ, участие в погребальных обрядах, тематических мемориальных мероприятиях и благотворительности, актах мемориальной маркировки (например, установка крестов или иных знаков на месте автомобильных аварий), составлении генеалогического древа, мемориальных путешествиях и пр.

В данном случае важно отметить, что персональная мемориальная активность не сводится исключительно к актам трагического поминовения (жертв катастроф, умерших родственников и пр.), а может затрагивать любые аспекты, связанные с памятью и интересом к прошлому (исключение составляет профессиональная деятельность в этой сфере).

Стоит также еще раз подчеркнуть, что к мемориальной культуре мы относим только те виды мемориальной деятельности, которые в первую очередь отвечают критериям публичности (социальной визуализации, доступности для узнавания, включенности, исследования, оценки) и воспроизводимости (повторяемости во времени и пространстве, позволяющей говорить о некоей устоявшейся мемориальной традиции, системе мемориальных действий). Соответствие этим критериям делает мемориальную деятельность даже отдельного человека включенной в общий социокультурный контекст, дает основания интерпретировать ее в категориях феномена культуры, давать аксиологическую оценку.

Безусловно, персональная мемориальная активность может быть чрезвычайно разнообразной. Поэтому в данном случае жестко выстроить указанные критериальные границы достаточно сложно. Во-первых, потому что нередко мемориальная инициатива может выступать прецедентом, который только со временем трансформируется в повторяемую практику. Во-вторых, потому что некоторые формы мемориальной деятельности на первый взгляд не являются публичными (например, составление генеалогического семейного древа или семейного архива документов, написание мемуаров),

однако могут считаться проявлением некоего общего тренда, «мемориальной моды», как их назвал П. Нора, вписываться в структуру распространенных досуговых предпочтений. И тогда тот факт, что кто-то из респондентов ведет дневник или работает в архивах для восстановления семейной истории может интерпретироваться не сам по себе (в этом случае его нельзя расценивать как акт мемориальной культуры), а в более широком социальном контексте как частное проявление общих мемориальных процессов.

Методология и инструментальные основания изучения персональной мемориальной активности выстроены достаточно слабо. Можно отметить всего несколько исследований отечественных авторов, связанных с данной проблематикой:

– работу А. Юдкиной и А. Соколовой, посвященную придорожным мемориалам [311];

– работу А. Соколовой, посвященную спонтанной мемориализации после трагической гибели ярославской хоккейной команды «Локомотив» [182];

– исследование личных форм мемориальной активности в структуре культуры памяти жителей индустриальных городов Южного Урала М. Л. Шуб [220].

Таблица 5

Виды персональной мемориальной деятельности

№	Вид	Кол-во ответов
1	Посещение могил близких	47
2	Мемориальный туризм (посещение памятных мест)	16
3	Работа с семейным архивом	15
4	Посещение родовых мест	3
5	Участие в похоронных обрядах	3
6	Повседневное поминовение умерших	1
7	Посещение музея	1

Как видно из табл. 5, диапазон форм персональной мемориальной активности респондентов весьма невелик: подавляющее большинство из них

выбрало всего три варианта – посещение могил близких и родственников, посещение памятных мест (прежде всего связанных с захоронением святых людей, значимых для чеченской истории личностей, с объектами религиозного культа) и работа с семейным архивом (преимущественно – сохранение и просмотр семейных фотографий, составление фотоальбомов, составление семейного генеалогического древа).

Такая *солидарность* в выборе видов приватной мемориальной деятельности свидетельствует о наличии неких магистральных форм взаимодействия с прошлым, которые отражают доминантные национальные ценности – заботу о близких (в том числе умерших), уважение к выдающимся представителям чеченского народа, их почитание.

Кроме того, можно говорить еще об одной особенности данного вида мемориальной активности – *доминировании объектов приватной мемориализации*. При анализе топографического измерения мемориальной культуры мы уже обращали внимание на эту черту, говоря о преобладании локальных мемориальных объектов приватного характера (дом, мечеть, родное село) над объектами публичными (площади, мемориалы, памятники и пр.). В данном случае мы лишь зафиксировали ее устойчивость и воспроизводимость в различных смысловых контекстах.

Столь сфокусированное внимание к памяти об умерших членах семьи, местам их захоронения, артефактам, связанным с семейной историей, родовым местам свидетельствуют о наличии выраженной потребности современных чеченцев в поддержании межпоколенной коммуникации, в том числе и за счет повторения традиционных мемориальных ритуалов.

В данном случае реализуется сразу несколько важнейших функций коллективной памяти, которые могут непосредственно и не осознаваться участниками такого рода ритуалов, но интуитивно считываться ими. Во-первых, идентификационная функция. Как писал Э. Дюркгейм в работе «Элементарные формы религиозной жизни», «ритуальное повторение обеспечивает единство группы во времени и пространстве... Через него как

первичную организованную форму культурной памяти происходит возвращение к правремени сотворения мира, горизонт расширяется до космического, до времени творения. Соблюдение обрядов обеспечивает идентичность группы и функционирование мироздания» [65, с. 60]. Я. Ассман, обосновывая понятие ретроспективной памяти, полагал, что именно личные и коллективные усилия по сохранению памяти об умерших позволяют обеспечить консолидацию и целостность членов группы [20, с. 64].

Во-вторых, функция нивелирования темпорального разрыва. Обращение к прошлому, к предкам, местам их захоронения, родовым реликвиям, семейным архивам – все это создает ощущение непрерывности времен, его спокойного и гармоничного течения от поколения к поколению, наполняет жизнь смыслом и значением. Личный контакт с такими местами памяти создает у отдельного человека чувство сопричастности чему-то масштабному (семье, нации, поколению, традициям народа), встраивает его в систему мироздания. Как точно отметил Ю. М. Лотман, «память как творческий механизм не только панхронна, но противостоит времени. Она сохраняет прошедшее как пребывающее. С точки зрения памяти как работающего всей своей толщей механизма, прошедшее не прошло» [108, с. 201].

Стоит также отметить, что 98% опрошенных дали содержательный ответ на данный вопрос, т. е. продемонстрировали *личную вовлеченность в различные формы мемориальной активности*. Это свидетельствует о ее значимости, подкрепленности национальными ценностями и традициями.

Выделим еще одну черту персональной мемориальной активности – ее *моральность*, т. е. преобладание форм мемориализации, связанных со смертью (посещение могил умерших членов семьи, близких, друзей).

Персональная мемориальная активность является лишь одним из видов мемориальной деятельности. Однако именно она наиболее ярко проявляет, во-первых, «низовые» мемориальные установки, во-вторых, уровень мемориальной и шире – социальной активности населения, в-третьих,

степень разделяемости официальной политики памяти и в целом уровень социально-политической и идеологической лояльности населения. По мысли А. Ассман, именно личная включенность (или невключенность) в мемориальные практики маркирует чрезвычайно широкий спектр общественных процессов, а потому особенно остро нуждается в системной культурологической диагностике. С позиции Я. Ассмана, ее супруга и коллеги по мемориальной проблематике, она позволяет увидеть доминирующий тип коллективной памяти – культурной (в случае доминирования официальных коммемораций и низкого уровня бытовых коммемораций) или коммуникативной (в случае их обратного распределения).

Коммеморативная активность

Под коммеморативной активностью (вопросы интервью: «В каких официальных мероприятиях, связанных с сохранением памяти о прошлом, Вы принимаете участие (парады, возложение цветов и пр.?)», «Какие общегосударственные и общенациональные праздники Вы отмечаете?») мы понимаем разновидность приватной мемориальной активности, проявляющуюся в участии людей в различных государственных, регламентированных (имеющих четкую сценарную, временную, пространственную структуру) мемориальных мероприятиях. Наиболее распространенными формами такого рода коммемораций являются официальные прощания (как правило, связанные со смертью известных людей), праздничные парады и шествия, приуроченные к различным памятным датам, тематические мемориальные мероприятия (дни памяти выдающихся личностей, трагических событий и пр.).

Ответы респондентов на вопрос об участии в официальных коммеморативных практиках распределены следующим образом (табл. 6).

Таблица 6

Участие в официальных коммеморативных практиках

№	Вид	Кол-во ответов
1	Парад Победы, акция «Бессмертный полк», возложение цветов к вечному огню	43
2	Не принимаю участия	36
3	Поминальные обряды	7
4	День памяти первого Президента Чеченской Республики	2
5	День памяти жертв депортации	2
6	Посещение возрожденных сел	1

Респонденты практически в равных пропорциях либо участвуют в официальных мемориальных мероприятиях (исключительно посвященных Великой Отечественной войне), либо не участвуют в них совсем. Первая позиция является весьма объяснимой, поскольку мемориализация памяти Великой Победы – общегосударственная, масштабная, системная и разноплановая коммеморативная стратегия современного российского государства, в которую вовлечены все государственные субъекты и все слои населения. В каждом крупном городе установлен Вечный огонь, проходят Парады Победы и акция «Бессмертный полк». Стоит, однако, подчеркнуть, что около половины участников интервью, выбравших первый в таблице вариант ответа, отметили, что участвуют в такого рода коммеморативных мероприятиях «виртуально» – смотрят парад по телевизору или сети Интернет, читают сетевые публикации, приуроченные к празднованию 9 Мая.

Таким образом, можно выделить две наиболее выраженных черты коммеморативной активности современных чеченцев – во-первых, ее *однообразие*; а во-вторых, ее *достаточно низкий уровень*.

Для сравнения в семейных формах мемориальной деятельности участвуют 100% респондентов, в персональных – 99%. Эти формы подразумевают личную включенность человека, его непосредственное

участие в различных мемориальных актах (от посещения кладбища до составления семейного архива).

Такой разрыв востребованности и интенсивности различных форм мемориальной деятельности объясняется, на наш взгляд, внешним характером официальных коммемораций и внутренним, имманентным, глубоко укорененным в повседневный уклад, систему религиозных представлений и ценностей характером персонально-семейной мемориализации. Поход на кладбище или беседа об истории семьи со старшими родственниками представляются современным чеченцам естественной частью их быта и образа жизни, укорененными в традициях и обычаях народа. Тогда как коммеморативные мероприятия, даже искренне разделяемые и вошедшие в структуру национальной культурной памяти, выступают в этом контексте в некоторой степени искусственными и существующими отдельно от древних обычаев.

Такая ситуация является вполне естественной для общества, в котором доминирует коммуникативная память. Я. Ассман, автор данного понятия, полагал, что чем большую роль играет живая коммуникация между поколениями, чем сильнее власть традиции и обычая, тем меньше роль культурной памяти, то есть того сегмента представлений о прошлом, который генерируется «сверху» в рамках государственной политики памяти [20, с. 52–53].

Является ли данная ситуация специфичной именно для жителей Чечни? Дать однозначный ответ на этот вопрос довольно сложно без проведения аналогичных исследований в других регионах страны. В данном случае можно лишь воспользоваться результатами близкого по тематике исследования культуры памяти жителей индустриальных городов, проведенного М. Л. Шуб. Согласно опубликованным ею результатам, около трети опрошенных не принимают участия в официальных мемориальных мероприятиях. Оставшиеся респонденты практически в равной степени участвуют в Дне города и в Параде Победы [220, с. 121]. Совпадение

картины мемориальной активности южноуральцев и чеченцев только кажущееся. Поскольку для первых в целом характерен достаточно низкий уровень в целом мемориальной (а не только коммеморативной) активности, а персональной – стремится к нулевым показателям. В случае же с результатами нашего интервью низкий уровень коммеморативной деятельности контрастирует с чрезвычайно высокой интенсивностью личного включения в мемориальные практики.

Безусловно, сравнение коммеморативного поведения жителей городов Челябинской области и жителей г. Грозный, особенно учитывая факт использования различных исследовательских методик, представляется несколько условным, но небесмысленным. Во-первых, выявление специфики изучаемого явления (в нашем случае коммеморативной активности современных чеченцев) возможно только на контрасте с аналогичными явлениями, рассмотренными в иных обстоятельствах (например, территориальных, идентификационных, конфессиональных и пр.). К сожалению, данный аспект мемориальной культуры (самоанализ жителей на предмет активности и способов их участия в официальных мемориальных практиках) фактически не рассматривается специалистами *memorystudies*, поэтому сравнение с южноуральским исследованием в некотором смысле можно назвать вынужденной мерой.

Во-вторых, исследование М. Л. Шуб позволяет оценить не только сами итоговые данные (проценты, доминирующие ответы и пр.), но и увидеть общую мемориальную ситуацию, сложившуюся в регионе, понять ее причинные основания. Аналогичные цели ставим перед собой и мы. Нам представляется важным не только зафиксировать устойчивые тренды, но и оценить детерминирующие их импульсы, увидеть, как отдельные формы мемориальной активности чеченцев коррелируют с другими формами, вписываются в общую стратегию их мемориального поведения.

Виртуальные мемориальные практики

Виртуальные мемориальные практики представляют собой включенность респондентов в виртуальные формы мемориальной деятельности. Данному блоку интервью соответствовали следующие вопросы: «Состоите ли Вы в каких-то реальных или виртуальных сообществах, связанных с прошлым, историей, памятью и т. п. Если да, то в каких?», «Как Вы относитесь к тому, что создаются виртуальные кладбища, персональные страницы умерших людей и в целом – память об умерших людях получает виртуальную форму?»

Под виртуальными мемориальными сообществами мы понимаем различные по форме и содержанию интернет-объединения (группы в социальных сетях, сайты, тематические интернет-платформы и пр.), целенаправленно создающие и транслирующие контент, связанный с прошлым (историей, памятью, практиками поминовения и пр.). Мемориальный статус сообщества может быть зафиксирован в его названии, обозначен в миссии или просто отражен в предлагаемой информационной повестке.

Стоит добавить также, что типологически такие мемориальные сообщества крайне разнообразны – от генеалогических ресурсов до виртуальных кладбищ. Объединяет их, как мы уже отметили, целенаправленная, систематическая ориентация на ретротематику. Л. Б. Зубанова все возможные варианты виртуальной мемориальной активности разделила на две масштабных категории:

– «стихийная цифровая память – репрезентация событий прошлого в пользовательском контенте»;

– «регулируемая web-мобилизация воспоминаний – формат контролируемого контента, выраженный как в официальной политике “администрирования памяти” (DaSilvaCatela, 2015, p. 12), так и в целенаправленных стратегиях создания и трансляции оформленного в авторском видении образа памятных исторических событий» [71, с. 29–30].

Среди опрошенных 99 % отметили, что не состоят ни в каких сообществах, так или иначе связанных с прошлым в самом широком смысле слова. Большинство из них специально подчеркнули, что предпочитают способы реальной, «живой» коммуникации с национальной историей, религией, своими предками и памятными местами Чечни.

Обращение к другим вопросам интервью позволило выделить те черты мемориальной культуры и шире – национальной культуры чеченцев, которые, собственно, и объясняют столь однозначную позицию респондентов. Это прежде всего традиционность и связанный с ней консерватизм жизненного уклада, религиозных представлений, ценностных установок – опора на национальные, складывающиеся веками традиции, обычаи, устои, модели поведения. В контексте мемориальной деятельности это проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, в доминировании частной, интимной стороны мемориализации (приоритет отдается формам поминовения, связанным с семьей, домом, общиной, мечетью) и избегании публичности. Во-вторых, в почти тотальной вовлеченности респондентов в различные по своему наполнению, но идентичные по приватному характеру формы мемориальной активности (посещение мест захоронения близких и родных, мест памяти, работа с семейным архивом и пр.), что осознается ими как следование традициям, установленным предками, проявление уважения к ним.

Если расценивать сам факт обращения к сетевому контенту, взаимодействия с неограниченной и непредсказуемой по масштабу аудиторией как выход за рамки частного переживания прошлого, то обозначенные нами позиции респондентов вполне понятны и обоснованы. Можно предположить, что такая ситуация не является универсальной для жителей России в целом. Так, например, на основании изучения реакции аудитории на мемориальный медиаконтент, генерируемый современными российскими блогерами, Л. Б. Зубанова среди прочих отметила следующие особенности такого формата медиапотребления: выраженный интерес

аудитории к мемориальным интернет-проектам; высокая степень включенности аудитории в обсуждение мемориального контента [71, с. 36].

Результаты изучения виртуально-мемориальной активности жителей индустриальных городов Южного Урала также позволяют фиксировать аналогичную активность респондентов, в среднем 25 % которых состоят в виртуальных мемориальных сообществах [220, с. 124].

С одной стороны, можно согласиться с мнением Л. Б. Зубановой о том, что платформы виртуальной мемориализации «выступают “живым” форматом функционирования, отражают максимально суггестивный характер переживания событий прошлого», «становятся новыми местами памяти, на которых прошлое может быть дискурсивно проработано и осмыслено в слиянии личного и коллективного опыта постижения истории» [71, с. 36–37].

С другой стороны, достаточно вспомнить классическую мысль П. Нора о том, что именно места памяти являются главными маркерами ее отсутствия, отсутствия прошлого в живом течении времени, в межпоколенной коммуникации, в традиции как механизме передачи социального опыта: «Мы перешли от идеи видимого прошлого к идее невидимого прошлого, от прошлого устойчивого к прошлому, которое мы переживаем как разрыв» [134, с. 36]. Невидимым, т. е. неосвязаемым, не имеющим живого подкрепления, закапсулированным в архивах и исторических фильмах, прошлое становится в том числе и благодаря его виртуализации, переформатирующей прошлое как традицию в прошлое как память о ней.

Мы не готовы делать обобщающих выводов о всех современных чеченцах. Однако один тренд прослеживается довольно ярко – нежелание виртуализировать формы взаимодействия с прошлым, стремление и готовность взаимодействовать с ним «лично» (в семейных архивах, кладбищах, значимых мемориальных местах) – это свидетельства того, что в Чечне еще жива социальная, живая по своей природе память, по крайней

мере пока не нуждающаяся в своих виртуальных симулякрах и механизмах виртуальной компенсации.

Далее мы попросили респондентов обозначить отношение к одному из самых современных, радикальных и неоднозначно оцениваемых вариантов мемориализации – к виртуальным кладбищам.

Тенденция переводить различные формы мемориальной активности в плоскость их виртуального существования зародилась довольно давно, но стала особенно очевидной вместе с тотальным распространением Мировой паутины. В сетевом пространстве мемориальные сообщества или группы, так или иначе связанные с феноменом памяти, заняли свою востребованную нишу и обрели устойчивую аудиторию.

В связи с ростом популярности такого рода проектов актуализировалась потребность в их научном осмыслении, в связи с чем в структуре современных *memory studies* сформировалось отдельное направление *digital memory studies*. Однако сегодня все еще можно говорить о том, что конкретно-исследовательское, теоретико-методологическое содержание данного направления находится в стадии своего оформления. В актуальном же срезе наблюдается доминирование не столько научного, сколько повседневного интереса к проблеме цифровой памяти.

Предметная область *digital memory studies* сосредоточена вокруг таких явлений, как «исследование цифровых практик сохранения памяти, цифровых платформ, позволяющих обмениваться “воспоминаниями”, и дополнительных цифровых инструментов для репрезентации памяти» [129]. Также в предметную область входят компаративные исследования цифровых и «аналоговых» форм взаимодействия с памятью (хранение, распространение, визуализация и пр.).

На сегодняшний день можно говорить о множестве различных виртуальных мемориальных проектов (мы предлагаем использовать этот предельно общий и относительно нейтральный термин, вмещающий в себя

многообразии сетевого мемориального контента), которые можно классифицировать по самым разным основаниям:

- открытости или закрытости сообщества;
- наличия или отсутствия возможности сетевой активности и коммуникации пользователей (пополнение и/или обсуждение мемориального контента);
- совпадения или контрастности в отношении официальной политики памяти;
- наличия или отсутствия подразумеваемого практического эффекта (нахождение человека, информации, артефактов и пр.);
- наличие или отсутствие «реального» дублера виртуального сообщества;
- масштабность или точечная квотированность аудитории и пр.

С точки зрения специфики контента и формата можно выделить три наиболее востребованные группы виртуальных мемориальных проектов.

1. Веб-мемориалы, т. е. сообщества, посвященные, как правило, одному историческому событию, вокруг которого формируется контент и объединяются пользователи – непосредственные участники события, очевидцы, родственники пострадавших (таким событием может быть война, социальная или природная катастрофа и пр.). В российском интернет-пространстве примерами веб-мемориалов являются официальный сайт проекта «Бессмертный полк» и «Книга памяти» (мемориализация участников Великой Отечественной войны), «Бессмертный барак» и «Последний адрес» (объединение людей, чьи родные и близкие стали жертвами политических репрессий), «ПВ КГБ СССР в Афганистане в 1979–1989» (сообщество участников войны в Афганистане) и др. Одним из самых ярких зарубежных примеров веб-мемориалов является интернет-сообщество жертв теракта 11 сентября 2011 г. в США.

2. Мемориальный кластер социальных сетей. Не только отдельные специализированные тематические сообщества, но и целые социальные сети

адаптируют собственную политику под мемориальные запросы. Например, в «Живом Журнале» (livejournal.com) есть возможность создания «Мемориального блога», а также передачи права на пользование аккаунтом в случае смерти владельца третьему лицу. Согласно политике данного сервиса, блогу присваивается статус мемориального в случае доказанной смерти его владельца. С одной стороны, это предотвращает удаление блога как неактивного, а с другой – делает невозможным дальнейшее пользование им (размещение новых постов, комментарии уже существующих и пр.) [213].

Аналогичная опция предусмотрена и в Facebook (запрещен в России). Там же предлагается неоднозначно оцениваемая с морально-этических позиций опция «напоминания», следствием которой является нередкое «всплывание» в ленте фотографий людей, уже ушедших.

В некотором смысле любая социальная сеть является мемориальным сообществом, поскольку, помимо возможности общения «в моменте», предоставляет и возможность создания персонального фото-, аудио- и видеоархива.

3. Виртуальные кладбища. Под виртуальными кладбищами мы понимаем специализированные сайты, выступающие площадками виртуальной мемориализации умерших (или погибших) людей. Специфическими чертами таких сайтов являются, во-первых, масштабность морального контента, который измеряется сотнями и тысячами имен, во-вторых, пользовательская активность, т. е. наличие возможности добавлять аккаунты, вносить или обновлять контент, участвовать в обсуждении.

Функционально виртуальные кладбища создаются:

- для предельно долгого (и ограниченного только техническими возможностями ресурса) сохранения памяти об умершем человеке;
- обеспечения доступа к виртуальной «могиле» умершего человека при невозможности посещения кладбища в режиме реального времени;
- актуализации памяти о близком человеке посредством публичного размещения и периодического обновления информации о нем, а также

посредством обеспечения виртуальной коммуникации по поводу его смерти (практически на сайтах всех мемориальных кладбищ транслируется слоган «Мы живы, пока о нас помнят»);

– удовлетворения потребности в информации в сфере публичного траура (такого рода сайты дают возможность получать информацию о смерти/гибели известных людей);

– актуализации дат поминовения (практически все виртуальные кладбища предоставляют опцию напоминания о днях траура).

Типологически виртуальные кладбища чрезвычайно разнообразны. Например, Т. А. Рунаев выделяет следующие типы:

– виртуальные кладбища при похоронных агентствах, являющиеся цифровыми двойниками реальных захоронений;

– социально-сетевые кладбища (аккаунты в социальных сетях умерших пользователей – мы их выделяем в отдельную категорию);

– «чистое» виртуальное кладбище (сайт, изначально созданный под мортальный контент) [167, с. 113–116].

Существуют и иные варианты классификации и типологизации виртуальных кладбищ, например, в зависимости от их массовости, экономической политики (наличия или отсутствия платных услуг), аудитории («звезды» или обычные люди), разнообразия дополнительных опций и т. п.

В целом виртуальные кладбища стоит рассматривать как некий общедоступный вариант обретения бессмертия. По словам О. Мороз, «в культуре уже есть механизмы проработки культурного и социального бессмертия – ситуации, при которой человек остается действующим субъектом даже после физической смерти. Раньше от людей тоже оставалось много документов, писем, свидетельств, которые позволяли их авторам и адресатам символически жить в социальном мире. Но нужно было быть своего рода культурным героем, чтобы сохраниться в вечности, а теперь такая возможность есть у всех» [129].

Безусловно, обозначенный перечень мемориальных интернет-площадок не иллюстрирует их реальное многообразие. Существуют десятки сообществ, специализирующихся на генеалогии, локальной истории (группы в социальных сетях, посвященные сбору артефактов об истории того или иного города, улицы, рода и пр.). Есть ресурсы, ориентированные на поиск людей, в том числе и умерших (самый известный – портал «Жди меня»). При масштабных допущениях Интернет в целом можно рассматривать как пространство мемориализации, или как глобальное место памяти [101, с. 134].

В рамках данной работы мы не ставили перед собой цели комплексного и системного осмысления digitalmemory – это без преувеличения цель самостоятельного исследования. Мы лишь хотели оценить, насколько современная чеченская мемориальная культура на практике (см. анализ ответов на предыдущий вопрос) и потенциально (вопрос, связанный с виртуальными кладбищами) адаптирована к сосуществованию реальных и виртуальных форм мемориализации.

Ответы, полученные на вопрос «Как Вы относитесь к тому, что создаются виртуальные кладбища, персональные страницы умерших людей и в целом – память об умерших людях получает виртуальную форму?», можно разделить на три типа: отрицательные, положительные и нейтральные.

Последние представлены вариантами ответов «никак», «мне все равно», «не имею об этом никакого представления» – они стали наиболее популярными (42,2 %). Можно предположить, что это связано главным образом с новизной самого явления, отсутствием длительной практики его существования в рамках чеченской мемориальной культуры, экзотичностью для нее данной формы мемориализации.

Отрицательные ответы (32,2 %) в целом ограничивались констатацией негативного отношения к виртуальным кладбищам. Аргументация данной позиции участников интервью заключается в следующем:

- предпочтительность традиционных форм поминовения (молитвы, посещение реальных кладбищ) как значимой части бытового уклада (мемориальные традиции);
- этическое несоответствие виртуальных кладбищ религиозным представлениям («умерших надо отпускать с миром согласно исламу»);
- необходимость принимать смерть как неизбежное продолжение жизни и не создавать иллюзорные формы бессмертия;
- принципиально негативное отношение к виртуальной реальности в целом.

Положительное восприятие виртуальных кладбищ (25,6 %) связано со следующими установками респондентов:

- возможность использования новейших цифровых технологий (представляющих уникальные возможности) для сохранения памяти об ушедших близких и родных;
- возможность оперативного, массового, удаленного получения информации об ушедших героях чеченского народа;
- ресурс для генеалогических изысканий.

Несмотря на достаточно большой процент респондентов (около четверти опрошенных), разделяющих позитивное восприятие виртуальных кладбищ, все же подавляющее большинство относится к данной актуальной форме мемориализации либо нейтрально-скептически, либо категорически отрицательно. В целом такая позиция коррелирует с ответами участников опроса об их сетевой мемориальной активности. Напомним, что 99 % из них на вопрос о членстве в виртуальных сообществах мемориальной тематики ответили отрицательно.

Стоит также отметить, что, по мнению О. Мороз, такая позиция не является эксклюзивной и регионально локализованной или религиозно детерминированной. Исследователь убеждена, что в целом виртуальные формы мемориализации не являются сегодня сверхвостребованными. Основная причина столь низкой популярности мемориально-виртуального

ресурса в эпоху тотальной виртуализации жизни, по ее словам, заключается в том, что «в разных культурах до сих пор существует пиететное отношение к смерти, к памяти. Люди не хотят это оцифровывать и боятся, что с такой оцифровкой потеряется представление о бытии, которое нас определяет» [129].

Семейная мемориальная активность

Данная форма мемориальной активности отслеживалась через три вопроса интервью:

– «Какие формы сохранения памяти о прошлом характерны для Вашей семьи?»;

– «Какие национальные традиции и обычаи сохраняются в Вашей семье?»;

– «Передаются ли в Вашей семье традиции, обычаи, знания об истории семьи и пр. Каким образом, в каких формах?».

Под семейной мемориальной активностью мы понимаем инициирование различных видов мемориальной деятельности и/или участие в них членов семейного коллектива.

В данном случае имеются ввиду прежде всего внутрисемейные мемориальные традиции и обычаи, а не участие членов семьи в официальных коммеморативных практиках.

Ответы респондентов представлены в табл. 7 (с. 151).

Для представителей чеченского народа, как показали ответы на предыдущие вопросы интервью, включенность в различные формы мемориальной деятельности является чрезвычайно значимой. Это связано главным образом с характером самой чеченской культуры – с ее традиционностью, религиозностью, с высокой социальной важностью национальных обычаев, с поддержанием межпоколенных связей, с системой ценностей, в основе которой лежат уважением к предкам, семье, истории народа. Все перечисленные черты национальной культуры Чечни определяют и во многом объясняют востребованность актуализации

прошлого в различных формах мемориальной деятельности, главным образом в границах семьи.

Семья в чеченской культуре – это нечто большее, чем форма социального объединения. Это прежде всего инструмент поддержания темпорального единства, сохранения связей между поколениями, обеспечения живой («социальной» – в риторике П. Нора и «коммуникативной» – в концепции Я. Ассмана) памяти.

Как отмечает З. И. Хасбулатова, «передачу жизненного и практического опыта, исторически сложившихся традиций... следует считать одним из необходимых условий жизнедеятельности чеченского общества. Передача навыков старшего поколения младшему, когда обычаи и ценности непосредственно вплетались в жизнь человека с раннего детства, он приобщался к ним через семью – являлись важным и главным условием жизнедеятельности любого этноса, в том числе и чеченского» [206, с. 209].

Высокий социальный статус семьи закреплён и специально обозначен в различных официальных документах Чеченской Республики, в том числе и в «Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики», в которой «укрепление семьи, сохранение добрых традиций семейного воспитания, формирование прочной системы духовно-нравственных ценностей» [66] называется главным социальным приоритетом и неотъемлемой частью стратегии развития государства.

На основании ответов респондентов (табл. 7) можно констатировать значимую роль семьи и в контексте мемориальной деятельности.

Таблица 7

Семейные традиции сохранения памяти о прошлом

№	Вид	Кол-во ответов
1	Коллективные молитвы и иные поминальные ритуалы	39
2	Чтение исторической литературы	34
3	Составление генеалогического древа	24

4	Совместный просмотр фотографий, составление семейного архива	11
5	Рассказы старшего поколения об истории семьи и народа (устная история)	10
6	Создание групп памяти в социальных сетях	1
7	Посещение музея	1
8	Соблюдение национальных традиций	1
9	Коллекционирование старинных предметов	1
10	Мемориальное паломничество	1

Полученные результаты (промежуточные в данном блоке) позволяют говорить о том, что формы семейной мемориальной активности являются еще более востребованными, чем аналогичные формы, связанные с личной активностью (хотя и они оцениваются как значимые) – каждый из респондентов указал несколько (более двух) видов мемориальной деятельности, практикуемой в его семье. Сама такая деятельность в этом контексте оказывается во многом семейно-образующей, поддерживающей единство членов семьи, общие для них ценности, память о предках и пр.

Эта мысль подкрепляется также и тем, что наиболее популярные мемориальные практики (участие в коллективных молитвах, посещение могил родных и близких, совместное прослушивание рассказов старших об истории рода, работа с семейным архивом, составление генеалогического древа и пр.) имеют интериорный, в некотором смысле самозамкнутый характер, т. е. направлены на мемориализацию семейной истории, членов семьи, значимых семейных артефактов и т.п., а не ориентированы на коммеморацию внешних по отношению к семье событий или людей.

Даже чтение исторической литературы, посвященной истории Чечни, может рассматриваться в аналогичном ключе, поскольку, как свидетельствуют ответы респондентов, история родной страны воспринимается не изолированно от семейной истории, а как масштабный контекст ее бытования. Приведем один из ответов участников интервью: «Моя страна – это моя семья, а моя семья – это моя страна. Разделить их

нельзя. Если я не знаю историю своей страны, как я могу по-настоящему знать свои корни?»

Стоит также отметить, что самые популярные формы семейной мемориальной деятельности (посещение могил, коллективные молитвы, беседы со старшими членами семьи и др.) носят в целом традиционный и консервативный характер, т. е. имеют долгую историю своего практического воплощения. Они зародились давно и сами являются частью традиций и обычаев предков, воплощают в себе традиционные национальные ценности, являются механизмом межпоколенной коммуникации.

Семья в современном чеченском обществе выступает одновременно и «сейфом», и инкубатором памяти.

В первом – прошлое сохраняется, капсулируется в виде устойчивых форм мемориальной деятельности – от бесед со старшими об истории рода до посещения могил умерших предков. Стабильная и неизменная востребованность таких форм объясняется предельной значимостью традиции как составляющей национальной идентичности и самосознания чеченцев. Не случайно на вопрос о традициях и обычаях, сохраняемых в их семьях, 92% респондентов ответили: «Все существующие». Остальные респонденты лишь уточнили свои ответы, назвав конкретные традиции:

- уважение к старшим;
- гостеприимство;
- бережное отношение к семье;
- взаимопомощь;
- сохранение чувства гордости и достоинства;
- соблюдение похоронных, свадебных и иных обрядов.

Во втором (семья как инкубатор памяти) – устойчивые мемориальные формы каждый раз рождаются заново, актуализируются, ревитализируются – с приходом новых членов семьи, смертью стариков, с изменением внешних социально-политических или экономических обстоятельств, просто с течением времени.

Мы попросили респондентов назвать механизмы, благодаря которым происходит передача социального опыта, исторических знаний, жизненного уклада от поколения к поколению. Иначе – обозначить формы воспроизводства «живой» памяти. Ответы участников интервью представлены ниже (в порядке убывания востребованности ответа):

- устная форма (разговоры с представителями старшего поколения);
- предметно-пространственная форма (приобщение к национальным традициям посредством взаимодействия со старинными вещами, семейными ценностями, ведение семейного архива);
- дидактическая форма (передача опыта, традиций личным примером, в процессе воспитания);
- познавательная форма (чтение специализированной литературы по истории культуры чеченского народа);
- обрядово-ритуальная форма (воспроизводство традиций в свадебных, похоронных и иных обрядах);
- мемориальный туризм (посещение родовых мест).

Ответы респондентов подтверждают самозамкнутый характер семейной мемориальной активности. Она главным образом сосредоточена на самой себе, на общении поколений, на взаимодействии с пространственно-предметной средой, фиксирующей основные этапы семейной истории, на каждодневном воспроизводстве национальных традиций и обычаев в естественных формах повседневной жизни. Респонденты не назвали ни одного способа передачи традиций, обычаев и пр., связанного с внешними по отношению к семье акторами или институциями (образование, СМИ и пр.).

В совокупности это свидетельствует об активном функционировании коммуникативной памяти в пространстве современной чеченской мемориальной культуры, о снижении социальной роли которой говорил Я. Ассман и об исчезновении которой писал П. Нора. Последний был убежден, что из семьи «вырвано с корнем все то, что еще сохранялось из пережитого в тепле традиций, в мутациях обычаев, в повторении пришедшего от предков,

под влиянием глубинного исторического чувства» [134, с. 17]. Как показывают результаты нашего исследования, эти трансформации не коснулись современной чеченской семьи, которую можно охарактеризовать как чрезвычайно значимый мемориальный кластер.

На наш взгляд, дело в данном случае не только в высокой мемориальной активности самих респондентов, уделяющих большое внимание семейно-родственным формам «работы» с прошлым (100 % участников интервью), и даже не в том, что семейная мемориальная деятельность в самых различных ее проявлениях органично, глубоко и системно вмонтирована в структуру повседневности современных чеченцев, поскольку она воспринимается как значимый ресурс сохранения национальной самобытности, поддержания связи поколений, воспроизводства традиций и обычаев.

Дело главным образом в том, что мемориальная активность именно на уровне семьи является локальной моделью масштабной, общегосударственной мемориальной политики. В ней отражаются все значимые официально закреплённые мемориальные ценности, востребованные модели поведения, формы мемориализации. Через семейную мемориальную деятельность проявляется (и посредством нее же формируется) гражданская позиция чеченцев, их отношение не только к собственным родственникам, но и ко всем чеченцам в целом.

Сложно делать однозначные выводы о контрастности такой мемориальной стратегии в сравнении, скажем, с мемориальной стратегией русского народа. Для этого нужны исследования, проводимые по аналогичной инструментальной технологии. Однако в качестве подтверждающего аргумента можно еще раз сослаться на исследование локальной идентичности жителей индустриальных южноуральских городов М. Л. Шуб. Автор так характеризует уровень семейной мемориальной активности южноуральцев: «В целом жители всех шести изучаемых городов отличаются пассивностью в проявлении культуры памяти на персонально-

семейном уровне... из предложенных участникам исследования вариантов сохранения памяти о семейном прошлом как наиболее предпочтительные были выбраны те, которые не требовали высокой степени активности, деятельного участия, перемещения в пространстве, интеллектуальных и временных затрат и пр.» [220, с. 196–197].

В качестве итогов проведенного прикладного исследования современной чеченской мемориальной культуры можно отметить следующие моменты.

1. Прошлое представляется значимым модусом времени в целом и прежде всего как ресурс для построения позитивного и эффективного настоящего и будущего (позволяет извлечь ошибки из исторических трагедий, обеспечить межпоколенную коммуникацию, осознать благополучие актуальности и пр.).

Кроме того, прошлое является условием темпоральной гармонизации настоящего, механизмом приостановки бешеного ритма жизни, быстротечности времени. Оно (посредством апелляции к основам национальной культуры и традиционным ценностям) позволяет противостоять губительным последствиям глобализации, негативным проявлениям прогресса и в конечном итоге отстоять этническую самобытность и идентичность.

Важно отметить, что в ответах респондентов прошлое представляется не только чередой исторических событий, но и инкубатором смыслов, ценностей, символов, традиций. Такое понимание прошлого интегрирует в себе два начала – рационально-фактическое (прошлое как история) и социокультурное (прошлое как символическое пространство).

2. Персонификация прошлого (определение наиболее значимых для чеченской истории персоналий) во многом подтвердило те выводы относительно специфики мемориальной культуры Чечни, к которым мы пришли в предыдущей главе:

– доминирование войны, политики и религии как пространства реализации героизма; его синтетическая природа (проявленность в различных сферах);

– темпоральный баланс (паритетное распределение героев по разным историческим эпохам); гражданственность как ключевой фактор выбора героев;

– тотальное преобладание локального (этнического) компонента в национальной принадлежности выбранных личностей; наличие устойчивых «героических» доминант (общее единодушие в выборе значимых для мемориализации личностей).

3. Топографическое измерение прошлого (выделение наиболее значимых мемориальных мест в глобальном и локальном вариантах) позволяет «заземлить» представления о нем, материализовать, объективировать их. Значимый для человека мемориальный объект репрезентует его ценностные установки, наиболее типичные модели поведения, во многом говорит о содержании мемориальной идентичности.

Места памяти глобального масштаба, выбранные респондентами, представляют собой главным образом религиозные объекты (Мекка, Медина, Кааба), находящиеся за пределами Чеченской Республики и носящие внетемпоральный, внесобытийный и внеперсональный (не связанный с конкретной эпохой, событием, личностью) характер.

Глобальная топографическая мемориальная карта демонстрирует метафору пути – и физически-пространственного, темпорального (от истоков ислама к современности), и духовно-символического.

Места памяти локального масштаба, находящиеся в городах проживания респондентов, представлены мемориальными объектами:

– во-первых, широкого смыслового спектра (не посвященными конкретному событию);

– во-вторых, паритетным соотношением объектов публичного и частного мемориального назначения;

– в-третьих, репрезентующими военно-политическую сферу.

Кроме того, можно отметить, что данные объекты предполагают коллективные мемориальные действия (будь то посещение мемориала или отправление религиозного обряда в мечети) и отражают единодушие респондентов, подавляющее большинство которых выбрали одни и те же мемориальные объекты.

4. Современные чеченцы по-разному проявляют свою мемориальную активность. Так, например, почти 100% опрошенных принимают участие в различных мемориальных мероприятиях как лично (персональная мемориальная активность), так и на уровне семейного коллектива (семейная мемориальная активность). Однако стоит отметить, что в данном случае речь идет о приватной, частной мемориальной деятельности: посещение могил близких, памятных мест, работа с семейным архивом (в случае с персональной мемориализацией); чтение коллективных молитв, чтение исторической литературы, составление генеалогического древа своей семьи (в случае с семейной мемориализацией).

Что касается участия в официальных коммеморациях, то данная форма мемориальной деятельности оказалась значительно менее востребованной, с одной стороны, в числовых измерениях (около 50 %), а с другой – в измерениях содержательных. Внешние по отношению к повседневности и мемориальным традициям регламентированные мемориальные ритуалы воспринимаются в значительной степени более формально в сравнении с мемориальными практиками, органично вплетенными в образ жизни современных чеченцев.

Наиболее популярной коммеморацией, отмеченной респондентами, стали праздничные мероприятия, посвященные дню Великой Победы.

5. Различные формы виртуальной мемориальной деятельности также оказались в разряде малопопулярных. Почти никто из опрошенных не состоит в виртуальных мемориальных сообществах (различных по форме и содержанию интернет-объединениях, целенаправленно создающих и

транслирующего контент, связанный с прошлым). Около 75% относятся к виртуальным кладбищам – специализированным сайтам, выступающим площадками виртуальной мемориализации умерших (или погибших) людей, – либо индифферентно, не зная об их существовании и специфике предлагаемых опций, либо негативно (в силу этических, религиозных, бытовых причин).

Заключение¹⁰

Мемориальная культура без преувеличения – чрезвычайно сложное для исследования явление, главным образом в силу своей многогранности, многослойности и многоакторности. В отличие, например, от культурной или коммуникативной памяти, политики памяти или коммеморативных практик, которые имеют довольно четкие и понятные смысловые, субъектные и структурные границы, мемориальная культура аккумулирует в себе все существующие в том или ином обществе практики поминовения, инициируемые разнообразными мемориальными агентами (от государства в целом до локальных частных мемориальных инициатив), носящие и регламентируемый, и стихийный, и официальный, и приватный характер. Изучение столь масштабного феномена как с теоретико-концептуальных, так и с методолого-прикладных позиций является довольно сложной задачей и вряд ли решаемой в рамках одного исследования.

Ситуация осложняется также и тем научным (категориальным, содержательным) статусом, который мемориальная культура занимает в современных *memory studies* и гуманитаристике в целом.

С одной стороны, мемориальная культура – понятие, которое существует в гуманитарном дискурсе довольно давно. Во всяком случае, оно не является термином, изобретенным актуальной социокультурной риторикой. Его можно встретить с 1990-х гг. и в трудах классиков мемориальных исследований (А. Ассман, Я. Ассман и др.), и в работах ученых, чьи имена не столь широко известны.

С другой стороны, и у первых, и у вторых смысл феномена «мемориальная культура» транслируется скорее контекстуально, чем в рамках строгого определения. И поэтому этот самый смысл дрейфует от

¹⁰ Основные идеи Заключения изложены в монографии автора Современная мемориальная культура Чеченской Республики (теоретико-методологические и прикладные аспекты изучения). С. 214-223.

предельно общего толкования мемориальной культуры как мемориального ландшафта эпохи (А. Ассман, П. Нора) к ее локально-избирательным трактовкам (как система интерпретации прошлого, как формы его публичной репрезентации, как политика памяти и пр.).

В целом в такой ситуации нет ничего катастрофического – она универсальна для исследования гуманитарных явлений (даже базовое для *memory studies* понятие памяти в ее социальном понимании до сих выступает одним из наиболее дискуссионных). Пожалуй, в ней даже можно найти эвристичный потенциал, позволяющий на точке пересечения мнений, трактовок, подходов выйти к обретению новых смыслов, к разрешению теоретических и методологических противоречий.

Однако, если говорить не просто о дискуссии как благодатной почве прорастания знаний, а о довольно строгих законах генерирования научных текстов (монографии, диссертации, статьи), то смысловая неопределенность базового исследовательского понятия оборачивается не преимуществом, а фактором риска. Поэтому для нас было принципиально важным дать собственное определение мемориальной культуры, уточнить его через набор генетических признаков, структуру, функциональные параметры, т. е. очертить круг тех социокультурных явлений, которые и составляют ее суть. В представленной работе все эти позиции прописаны достаточно четко, поэтому нет смысла их пересказывать снова. Пожалуй, можно лишь определить ряд моментов, значимых как для понимания мемориальной культуры, так и для корректного восприятия данного исследования.

Во-первых, мемориальная культура, несмотря на предельно широкие содержательные и структурные границы, которые мы предложили для ее интерпретации, включает в себя многое, но далеко не все, связанное с прошлым и практиками его поминовения. Использование термина «культура» дает нам концептуальные основания рассматривать только те мемориальные явления, которые одновременно являются и явлениями культуры (или культурными формами, по А. Я. Флиеру), т. е. отвечают

критериям социальной воспроизводимости, специфичности (выделяемости среди иных родственных явлений), устойчивости, эмпиричности (то есть поддаются изучению и систематическому описанию), структурной и функциональной целостности [200, с. 141].

Во-вторых, как показывает опыт знакомства с различными мемориальными исследованиями, существует несколько возможных путей изучения мемориальной культуры:

1) морфологический (детальное описание всех возможных типов и видов мемориальной деятельности, составляющих объем мемориальной культуры) – уязвимость данного подхода заключается в неисчерпаемости форм мемориальной активности, поскольку в разных культурах и в различные периоды времени существуют различные и чрезвычайно разнообразные варианты взаимодействия с прошлым;

2) компаративный (изучение одного и того же элемента мемориальной культуры в различных социокультурных и исторических условиях его бытования) – при всей своей эвристичности он не позволяет увидеть общую мемориальную панораму, сложившуюся в том или ином обществе;

3) рефлексивный (анализ взаимодействия различных компонентов мемориальной культуры в условиях конкретной историко-культурной среды).

У данного подхода, который мы использовали в качестве базы нашего исследования, тоже есть свои слабые стороны.

Во-первых, как и в случае с морфологическим подходом, невозможность симметрично полного и глубокого анализа всех компонентов мемориальной культуры. Во-вторых, в отличие от компаративного подхода, условность выделения специфики мемориальной культуры вне процедур сравнения ее с другими мемориальными культурами, отсутствие социокультурной панорамности и универсальности выводов. К слову сказать, в случае с мемориальной культурой Чеченской Республики это проявляется особенно контрастно. Во-первых, в силу специфики (по сравнению с российской культурой в целом) самой современной чеченской культуры, ее

выраженного религиозного характера, сохраняющейся традиционности, бережного отношения к национальным ценностям, наследию, языку и пр. Во-вторых, в силу отсутствия опыта (в том числе и методолого-инструментального) изучения мемориальной культуры иных объектов России, а соответственно, и отсутствия эмпирической базы для проведения сравнительно-описательных процедур.

Однако, на наш взгляд, именно рефлексивный подход обладает наибольшей гармоничностью, поскольку позволяет сбалансировать концептуальные построения с их эмпирической апробацией, увидеть сущностные связи (или их отсутствие) между различными элементами мемориальной культуры, оценить ее эффективность.

В-третьих, важно понимать, что мемориальная культура – это идеальный веберовский тип, конструируемый в рамках исследовательской процедуры для оптимизации познавательного процесса. А. Я. Флиер называет такого рода конструкции «умозрительными классификационными моделями, задающими те или иные параметры для систематизации и типологизации культурно-исторической фактуры» [200, с. 141]. Потенциал таких моделей заключается в возможности концептуализации живой эмпирической реальности («культурно-исторической фактуры»), структурировании исследовательского процесса, выявления закономерностей, связей, корреляций между различными мемориальными явлениями. При этом жесткие структурные рамки идеального типа не всегда с предельной точностью экстраполируются на сложную ткань реальной жизни, что во многом и объясняет смысловой, структурный, функциональный люфт между социокультурной действительностью и соответствующей ей концепцией.

Что касается мемориальной культуры современной Чеченской Республики, то ее содержание мы постарались изложить максимально подробно (в различных проекциях и формах репрезентации) в тексте

представленной работы. В качестве обобщающих комментариев отметим следующие черты современной чеченской мемориальной культуры.

1. Традиционность и консервативность, т.е. ориентация на те формы взаимодействия с прошлым, которые можно назвать органичными в отношении национальной культуры, укорененными в образе жизни, актуализируемыми в повседневном укладе. В этом смысле мемориальная культура выступает, с одной стороны, в роли механизма, сохраняющего, поддерживающего традиционные представления о прошлом, способы его интерпретации и воспроизводства. С другой стороны, она реализует функцию ретранслятора прошлого, адаптирующего его под новые исторические обстоятельства жизни чеченского общества. Такая двуединая миссия мемориальной культуры обеспечивает темпоральную монолитность социокультурного бытования, связь поколений, сохранение понятного и принимаемого ценностного фундамента, нивелирует разрыв между прошлым и настоящим и одновременно выступает в роли катализатора социального развития.

При такой роли традиции в культуре, в том числе и мемориальной, наблюдается сниженное внимание к современным цифровым, виртуальным формам мемориализации, а иногда и полное отрицание их. Такой тренд достаточно четко проявился в чеченской мемориальной культуре на примере сетевых мемориальных сообществ и виртуальных кладбищ.

2. Доминирование двух четко проявленных смысловых векторов – милитаристского и религиозного. Они отражаются и в официальном мемориальном нарративе, и в представлениях «обычных» чеченцев, и в персонифицированном срезе мемориальной культуры, и в ее топографическом измерении. Такие доминанты более чем объяснимы, прежде всего с точки зрения исторического бэкграунда развития чеченского народа, который, во-первых, формировался и развивался как сообщество воинов (воинские ценности до сих пор являются чрезвычайно значимыми), а во-вторых, всегда был теснейшим образом связан с исламом, который

пронизывал все сферы жизни чеченцев (ценностные установки, мировоззрение, бытовой уклад и пр.).

3. Консолидированность. Современная чеченская мемориальная культура отличается общей согласованностью позиций различных акторов относительно базовых установок в отношении прошлого: его значимый аксиологический статус, высокий идентификационный потенциал, ресурсность в созидании будущего (прошлое позиционируется не столько как самоценность, но как основа для построения будущего), приемлемость различных форм взаимодействия с ним, содержания его персонификационного, топографического, деятельностного измерений и пр.

4. Локальное центрирование. Все элементы мемориальной культуры (нарратив, нейминг, искусство, музейная деятельность, персонификация, семейная мемориальная активность и пр.) ориентированы на национальную историю, современность, традиции, бытовой уклад, почитание выдающихся личностей, сохранение памяти о них и их актуализацию. Такая позиция не отменяет интереса и уважения к культурам других народов, но подчеркивает значимость мемориализации культуры собственной. Интерес к истории страны на низовом (чтение исторической литературы в кругу семьи, мемориальный туризм) и официальном (программы поддержки музеев, языка, исторических исследований и пр.) уровнях, присвоение улицам имен выдающихся чеченцев, сохранение памяти о них в народной памяти, обращение к знаковым событиям прошлого чеченского народа в художественном пространстве, сохранение национальных традиций и обычаев, почтительное уважение к старшим, к семейной генеалогии – все это в совокупности позволяет говорить о том, что В. Шнирельман называл мемориальным этноцентризмом.

5. Приватность и коллективность. Эта черта также проявляется на различных уровнях бытования мемориальной культуры и конкретизируется в следующих позициях: низкая популярность официальных коммемораций на фоне высокой востребованности семейных практик поминовения,

скептическое отношение к внешним, демонстративным проявлениям мемориальной деятельности, ориентированность на приватность и даже интимность взаимодействия с прошлым в границах узких групп (родные, жители села, прихожане одной мечети), доминирование социальных форм мемориализации над личными и пр.

б.Эффективность. Под эффективностью мемориальной культуры мы понимаем высокую степень разделяемости официального мемориального нарратива (т. е. совпадение базовых установок политики памяти и ее реципиентов, обычных людей), высокий уровень социальной мемориальной солидарности (отсутствие конфликтности в оценке респондентами значимых мемориальных явлений, объектов, процессов; отсутствие выраженных контркультурных позиций).

Достижение такого рода мемориального консенсуса – чрезвычайно трудная задача в условиях общего высокого уровня социальной неоднородности и конфликтности. В случае с чеченской мемориальной культурой он фиксируется и в интерпретации прошлого как ресурса настоящего и будущего (нет ностальгического западания настроений «обычных» чеченцев, есть четкая установка на созидание и преодоление существующих проблем); и в синтетическом понимании прошлого одновременно и как арены исторических событий, и как источника культуры, ценностей, смыслов, символов, самобытности; и в стремлении преодолеть «темпоральные разрывы» (неизбежную дистанцию между прошлым и настоящим), обеспечить межпоколенные скрепы посредством традиций и обычаев национальной культуры; и в равномерной аксиологизации истории (признание ценности прошлого на всех этапах его фактологической репрезентации).

Стоит также отдельно отметить, что предлагаемое исследование представляет собой первую попытку системного осмысления мемориальной культуры современной Чечни. В такого рода случаях, когда и теоретические основания, и методология, и методический инструментарий разрабатываются

по сути дела впервые, без опоры на опыт, избежать содержательных лакун и эмпирических просчетов невозможно. Мы признаем их вероятностное наличие и воспринимаем их как условие для дальнейшего совершенствования концептуальной и прикладной основ работы. Однако в тоже самое время мы осознаем и тот факт, что наше исследование играет важную роль как для самой Чеченской Республики (позволяет осмыслить ее культуру под новым углом зрения, увидеть тренды актуального развития, точки пересечения традиционного и инновационного, оценить источники формирования/адаптации идентичности, соответствующей реалиям современности и пр.), так и для ее партнеров по межкультурному, политическому, экономическому диалогу (для России прежде всего).

Нам чрезвычайно близок подход М. Ротберга (он апробировал его на базе исследования памяти о Холокосте и иных травмирующих событиях европейской и американской памяти), который в качестве базовой методологической установки выбрал принцип «видеть сходство там, где другие видят исключительно различия», поскольку «обнаружение сходств указывает на иную перспективу, открывающую возможность сочувствия, сострадания и солидарности. Так возникают амбивалентные отношения там, где раньше преобладала однозначность» [17, с. 191]. Представляется, что потенциал проведенной нами работы раскрывается не столько в обосновании уникальности мемориальной культуры Чеченской Республики, сколько в создании исследовательского прецедента; не в активизации конкуренции жертв и травм, а в активизации соучастия и понимания «чужой» идентичности, «чужой» картины прошлого, «чужой» мемориальной культуры.

Список литературы

1. Адорно, Т. После Освенцима / Т. Адорно // Негативная диалектика. – Москва: Научный мир, 2003. – С. 322–333.
2. Адорно, Т. Что значит «проработка прошлого» / Т. Адорно // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2–3 (40–41). – URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ado4.html> (дата обращения: 12.05.2022).
3. Азиева, Э. С. Речевой портрет Р. А. Кадырова / Э. С. Азиева // Известия ДГПУ. – 2014. – № 4. – С. 70–73.
4. Алироев, И. Ю., Сайдуллаев, М. М. Чеченцы. Кто они? / И. Ю. Алироев, М. М. Сайдуллаев. – Москва, 1999. – с. 167.
5. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андерсон. – Москва: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. – 288с.
6. Аникин, Д.А. Стратегии трансформации политики памяти в современной России: региональный аспект / Д.А. Аникин // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер.7. Философия. – 2012. – № (18). – С. 121–126.
7. Анисов, А. М. Проблема познания прошлого / А. М. Анисов // Философия науки. Вып. 1: Проблемы рациональности. – Москва: ИФ РАН, 1995. – С. 243–267.
8. Анкерсмит, Ф. Возвышенный исторический опыт / Пер. с англ. под науч. ред. А. А. Олейникова. – Москва: Европа, 2007. – 612 с.
9. Анкерсмит, Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры / Ф. Р. Анкерсмит / Пер. с англ. М. Кукарцевой и др. – Москва: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2009. – 264 с.
10. Арндт, Х. Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли / Х. Арндт. – Москва: Издательство Института Гайдара, 2014. – 416 с.

11. Арнаутова, Ю. Е. MEMORIA: Тотальный социальный феномен и объект исследования / Ю. Е. Арнаутова // *Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени: сб. статей / сост., отв. ред. Л. П. Репина.* – Москва: Кругъ, 2003. – С. 19-37.
12. Артог, Ф. *Времена мира, история, историческое письмо* / Ф. Артог // *НЛО: независимый филологический журнал.* – 2007. – № 1 (83). – URL: magazines.russ.ru/nlo/2007/83/ar3.html(дата обращения: 02.10.2022).
13. Артог, Ф. *Время и история: «Как писать историю Франции?»* / Ф. Артог // *«Анналы» на рубеже веков: антология / сост. А. Я. Гуревич, С. И. Лучицкая.* – Москва: «XXI век – согласие», 2002. – С. 147–168.
14. Артог, Ф. *Порядок времени, режимы историчности* / Ф. Артог // *Неприкосновенный запас.* – 2008. – № 3 (59). – URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/ar3.html> (дата обращения 30.09.2022).
15. Арьес, Ф. *Время истории* / Ф. Арьес; пер. с фр. и примеч. М. Неклюдовой. – Москва: ОГИ, 2011. – 304 с.
16. Ассман, А. *Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика* / А. Ассман. – Москва: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.
17. Ассман, А. *Новое недовольство мемориальной культурой* / А. Ассман ; пер. Б. Н. Хлебникова. – Москва: Новое литературное обозрение, 2016. – 232 с.
18. Ассман, А. *Распалась связь времен? Взлет и падение темпоральной культуры Модерна* / А. Ассман ; пер. с нем. Б. Хлебникова ; пер. английских цитат Д. Тимофеева. — Москва: Новое литературное обозрение, 2017 — 272 с.
19. Ассман, А. *Трансформации нового режима времени* / А. Ассман // *Новое литературное обозрение.* – 2012. – № 116. – URL: magazines.russ.ru/nlo/2012/116/a4.html#_ftnref7 (дата обращения: 06.10.2022).
20. Ассман, Я. *Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности* / Я. Ассман; пер.

с нем. М. М. Сокольской. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.

21. Астафьева, О. Н. Культурная память в контексте формирования национальной идентичности России в XXI веке / О. Н. Астафьева. – Москва: Совпадение, 2012. – 167 с.

22. Астафьева, О. Н., Аванесова, О. Г. Культурная политика и национальная культура: перспективы стратегического вектора современной России / О. Н. Астафьева, О. Г. Аванесова // Ярославский педагогический вестник. – 2015. – № 5. – С. 193–201.

23. Астафьева, О.Н. Социокультурное развитие российских регионов: механизмы самоорганизации и региональная политика / О.Н. Астафьева, Г.А. Аванесова. 2-е изд., расшир. и дополн. – Москва: Изд-во Рос. акад. гос. службы, 2004. – 424 с.

24. Бахтин, М. К методологии гуманитарных наук / М. Бахтин. – Москва: Искусство, 1979. – 412 с.

25. Бахтин, М. М. Формы времени и хронотопа в романе / М. М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. – Москва: Художественная литература, 1975. – С. 234–407.

26. Беньямин, В. О понятии истории / В. Беньямин // Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. – Москва: Издательский центр РГГУ, 2012. – С.237–254.

27. Блиев, М., Дегоев, Д. Кавказская война / М. Блиев, Д. Дегоев. – Москва: Росет, 1994. – 592 с.

28. Блок, М. Апология истории или ремесло историка / М. Блок. – Москва: Наука, 1986. – 83 с.

29. Божченко, О.А. Музей в формировании исторической памяти: автореф. дис. ... канд. культурологии: 24.00.03 / Божченко Ольга Александровна; [Место защиты: С.-Петербур. гос. ун-т культуры и искусств]. – Санкт-Петербург, 2012. – 39 с.

30. Бонами, З. Музей в дискурсе аффекта / З. Бонами // Политика аффекта: музей как пространство публичной истории. – Москва: Новое литературное обозрение, 2019. – С. 51–78.

31. Бордюгов, Г.А. «Войны памяти» на постсоветском пространстве / Г.А. Бордюгов. – Москва: АИРО–XXI, 2011. – 25 с.

32. Бордюгов, Г.А. Вчерашнее завтра. Как «национальная история» писалась в СССР и как пишутся теперь / Г. Бордюгов, В. Бухараев. – Москва: АИРО–XXI, 2011. – 248 с.

33. Боров, А. Х. Северный Кавказ в российском цивилизационном процессе (Проблема социально-культурного синтеза) / А. Х. Боров. – Нальчик: Кабардино-Балкарский ун-т, 2007. – 298 с.

34. Брагина, Л. А. Мемориальный музей как культурный феномен современности / Л. А. Брагина // Культурное наследие Сибири: сб. науч. тр. / под ред. Т. М. Степанской. – Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2014. – С. 5–13.

35. Бугаев, А. М. Почему И. Сталин выселял народы? (постановка проблемы) / А. М. Бугаев // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. – 2009. – С. 88–91.

36. Бугай, Н. Ф. Репрессированные граждане на защите Отечества / Н. Ф. Бугай // Народ и война: очерки истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Москва: Гриф и К, 2010. – С. 273–294.

37. Бурдые, П. Социология социального пространства / П. Бурдые. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2017. – 288с.

38. Бурлина, Е. Я. Время в городе: темпоральная диагностика, хроно типы, молодежь: Монография / Е. Я. Бурлина, Л. Г. Иливицкая, Ю. А. Кузовенкова, Я. А. Голубинов, Н. В. Барабошина, Е. Я. Римон, Е. Ю. Шиллинг. – Самара: Изд-во Самарск. науч. центра РАН, 2012. – 266 с.

39. Бурлина, Е. Я. Время культуры: междисциплинарные подходы / Е. Я. Бурлина // Время культуры и студент в зеркале времени:

«переоткрытия» / Учебно-методическое и научное издание для студентов и аспирантов // Альманах «Науки о жизни». – 2011. – № 9. – С. 4–14.

40. Бьюкенен, Дж. Смерть Запада. Сочинения / Дж. Бьюкенен. – Москва: Таурис Альфа, 2003. – 444 с.

41. Васильев, А. Memory studies: Единство парадигмы – многообразие объектов [Электронный ресурс] / А. Васильев // Новое литературное обозрение. – 2012. – № 5. – URL: www.nlobooks.ru/node/2640#sthash.DX2keODu.dpuf. (дата обращения: 26.04.2023).

42. Васильев, А. Воплощенная память: коммеморативный ритуал в социологии Э. Дюркгейма / А. Васильев // Социолог. обозрение. – 2014. – № 2. – С. 141–168.

43. Васильев, А. Западные «места» – восточные «узлы» памяти: в поисках методов анализа культур воспоминания / А. Васильев // Новое литературное обозрение. – 2015. – № 3 (133). – URL: <https://magazines.gorky.media/nlo/2015/3/zapadnye-mesta-8212-vostochnye-uzly-pamyati-v-poiskah-metodov-analiza-kultur-vospominaniya.html> (дата обращения: 22.10.2022).

44. Васильев, А. Мемориализация и забвение как механизмы производства культурного единства и разнообразия / А. Васильев // Фундаментальные проблемы культурологии: сб. ст. по материалам конгресса / отв. ред. Д. Л. Спивак. – Москва: Новый хронограф: Эйдос, 2009. – С. 56–68.

45. Вачагаев, М. Реабилитация народов Северного Кавказа: основные проблемы чеченцев и ингушей в период с 1957-го по начало 1990-х годов / М. Вачагаев // Кавказ и глобализация. – 2009. – Т. 3. – № 1. – С. 164–173.

46. Вачагаев, М. Чеченцы в Кавказской войне. Политизация чеченской истории / М. Вачагаев // Грани. – 2002. – № 202. – С. 200–236.

47. Вебер, М. Избранные произведения: пер. с нем. / сост., общ ред. и послесл. Ю.Н.Давыдова; предисл. П.П.Гайденко. – Москва: Прогресс, 1990. – 808 с.

48. Вельцер, Х. История, память и современность прошлого / Х. Вельцер // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2–3 (40–41). – URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/istoriya-pamyat-i-sovremennost-proshlogo.html> (дата обращения: 9.09.2022).

49. Верч, Дж. Нарративные инструменты, истина и быстрое мышление в национальной памяти: мнемоническое противостояние между Россией и Западом по поводу Украины / Дж. Верч. – URL: <https://oralhistory.md/rus/articles/verch-dzheyms-narrativnye-instrumenty-istina-i-bystroe-myshlenie-v-natsionalinoy-pamyati-mnemonicheskoe-protivostoyanie-mezhdu-rossiey-i-zapadom-po-povodu-ukrainy>. (дата обращения: 2.02.2023).

50. Востряков, Л.Е. Культурная политика: понятия и модели: монография / Л.Е. Востряков. – Санкт-Петербург: Издательство СЗИ РАХНиГС, 2011. – 168 с.

51. Вяземский, Е.Е. Историческая политика как инструмент взаимосвязи профессиональной историографии и коллективной памяти / Е.Е.Вяземский // Преподавание истории в школе. –2011. –№ 2. – С. 20–25.

52. Гапоненко, Л. Б. Конструирование национальной идентичности в контексте политики памяти / Л. Б. Гапоненко // Дискурс-Пи: научный журнал. – 2020. – № 3 (40). – С. 40–53.

53. Гинзбург, К. Мифы-эмблемы-приметы: Морфология и история / К. Гинзбург / Сборник статей. Пер. сит. и послесл. С. Л. Козлова. – Москва: Новое издательство, 2004. – 348 с.

54. Гири, П. Память / П. Гири // Словарь средневековой культуры. – Москва: Версия-А, 2003. – С. 342–348.

55. Городские локальные идентичности как основа формирования устойчивых местных сообществ. Исследование общегородских идентичностей жителей Владимира, Смоленска, Ярославля: Итоговый

аналитический отчет о результатах массовых опросов населения / И. В. Задорин, Р. В. Евстифеев, П. Л. Крупкин и др. – Москва: ИМСО, 2016. – 120 с. – URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/a5a/Izbrannoe_ZIRCON_GLI_2015.pdf (дата обращения: 16.02.2022).

56. Государственная программа Чеченской Республики «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике». – URL: <https://docs.cntd.ru/document/430606685> (дата обращения: 05.02.2023).

57. Гофман, А. Б. От какого наследства мы не отказываемся? Традиции и инновации в постсоветской России / А. Б. Гофман // Россия реформирующаяся. Ежегодник – 2004 / Отв. ред. Л. М. Дробижева. – Москва: Институт социологии РАН, 2004. – 336 с.

58. Гун, Г. Е. Концептуальные основы культурной политики для городов / Г. Е. Гун // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 16. – С. 265–267.

59. Гун, Г. Е. Процессы мемориализации в современной культуре / Г. Е. Гун // Вестник культуры и искусств. – 2018. – № 2 (54). – С. 46–52.

60. Гуров, М. Б. Государственная мемориальная культурная политика: к вопросу о сакральной коммеморации / М. Б. Гуров // Культурное наследие России. – 2018. – № 1. – С. 54–60.

61. Дармилова, Э. Н. Кавказская война и народы Северного Кавказа: прошлое и современность: Вторая половина XIX-XX вв.: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Э. Н. Дармилова. – Черкесск, 2003. – 172 с.

62. Джадт, Т. «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память? / Т. Джадт // AbImperio. – 2004. – № 1. – С. 44–71.

63. Дробижева, Л. М. Интеллигенция и национализм. Опыт постсоветского пространства / Л. М. Дробижева // Этничность и власть в полиэтничных государствах / Под ред. В. А. Тишкова. – Москва: Наука, 1994. – С. 71–84.

64. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. Дюркгейм. Пер с фр. и послесл. А.Б. Гофмана. – Москва: Наука, 1990. – 575 с. (Социологическое наследие).

65. Дюркгейм, Э. Элементарные формы религиозной жизни / Э. Дюркгейм. – Москва: Элементарные формы, 2018. – 808 с.

66. Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики. – URL:<https://docs.cntd.ru/document/577924146>. (дата обращения: 26.03.2023).

67. Завязкин, В. Границы традиции / В. Завязкин // Искусствознание. – 2009. – № 1–2. – С. 133–181.

68. Зубайраева, З. «Февраль». Замысел фильма откроется в феврале / З. Зубайраева // Чечня сегодня. – 27 января 2014. – URL:<https://chechnyatoday.com/content/view/277104/520> (дата обращения: 15.01.2023)

69. Зубанова, Л. Б. Актуальные тренды памяти: проблемное поле журнала *Memory Studies* / Л. Б. Зубанова, Н. Л. Зыховская, М. Л. Шуб // Социологические исследования. – 2021. – № 2. – С. 140–145.

70. Зубанова, Л. Б. Лингво-темпоральный анализ инаугурационных выступлений глав США и России / Л. Б. Зубанова, Н. Л. Зыховская, М. Л. Шуб // Социологические исследования. – 2019. – № 4. – С. 150–154.

71. Зубанова, Л. Б. Медиа-репрезентации памяти: доминирующие коды прочтения травматичных событий в интернет-пространстве / Л. Б. Зубанова // Дискурс-Пи: научный журнал. – 2020. – № 4 (41). – С. 26–39.

72. Ибрагимова, З. Чеченцы / З. Ибрагимова. – Москва: Пробел-2000, 2010. – 385 с.

73. Ижикова, Н. В. Инновационный потенциал культурологической методологии в теории культурной политики / Н. В. Ижикова // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Общественные и гуманитарные науки. – 2009. – № 6 (100). – С. 45–48.

74. Ижикова, Н. В. Сетевой подход в хронополитической парадигме современной культурной политики / Н. В. Ижикова // Второй Российский культурологический конгресс с международным участием «Культурное многообразие: от прошлого к будущему»: Тезисы докладчиков и сообщений. – Санкт-Петербург: Эйдос, Астерион, 2008. – С. 485–486.
75. Иконникова, С.Н. История культурологических теорий / С.Н.Иконникова. – 2-е изд., перер. и доп. – СПб.: Питер, 2005. – 474 с.
76. Иливицкая, Л. «Хронотип» – тип времени в культуре / Л. Иливицкая // Время культуры и студент в зеркале времени: «переоткрытия» / Учебно-методическое и научное издание для студентов и аспирантов // Альманах «Науки о жизни». – 2011. – № 9. – С. 14–22.
77. Ильинская, Е. А. Темпорально-глокализационные процессы в современной культуре / Е. А. Ильинская, Г. М. Берженюк, Т. В. Ефимова // Общество. Среда. Развитие. – 2016. – № 4 (41). – С. 56–59.
78. Ильинская, Е.А. Образ и концепт времени как факторы генезиса и динамики культурных систем: автореф. дис. ... д-ра культурологии: 24.00.01 / Ильинская Елизавета Александровна; [Место защиты: С.-Петербур. гуманитар. ун-т профсоюзов]. – Санкт-Петербург, 2017. –С. 28.
79. Ильясова, Р. С. Язык как этническая ценность (на примере чеченского языка) / Р. С. Ильясова // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – Том 14. – № 6 (73). – С. 534–535.
80. Инаугурация Рамзана Кадырова. – URL: <https://malsagoff.livejournal.com/199702.html> (дата обращения: 10.06.2022).
81. Интервью Р. Кадырова Телеканалу «Россия 24» (11.12.2013). – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=jnlX1M3ZIio> (дата обращения: 29.04.2023).
82. Ионесов, А. И., Ионесов, В. И. Музей как миротворчество: способны ли артефакты культуры нас примирить? / А. И. Ионесов, В. И. Ионесов // Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. – № 19 (374). – С. 75–81.

83. Ионесов, В. И. Гуманистическая природа культурного наследия как ресурс современной образовательной практики / В. И. Ионесов // Вестник Самарского государственного технического университета. – 2015. – № 2 (26). – С. 60–66.

84. Ионесов, В. И. Человек в системе пространственно-временных связей: проекции и вызовы социокультурной коммуникации / В. И. Ионесов // Вестник Самарского государственного технического университета. – 2013. – № 2 (20). – С. 142–148.

85. Ионов, И. Н. Стратегии деисторизации / И. Н. Ионов // Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / под ред. Л. П. Репиной. – Москва: Кругъ, 2010. – С. 48–66. – (Образы истории).

86. Исакиева, З. С. Из истории повседневной жизни депортированных народов в годы Великой Отечественной войны на примере чеченцев и ингушей / З. С. Исакиева // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – № 12. – С. 119–125.

87. История Чечни XX и начала XXI веков / А. И. Хасбулатов и др. – Грозный: Книжное изд-во, 2008. – 830 с.

88. Каган, М. С. Пространство и время как культурологические категории / М. С. Каган // Вестник СПбГУ. – 1993. – Сер. 6. – Вып. 4. – С. 30–40.

89. Кадиева, Х. Анзор Юшаев: Этот фильм посвящается всем жертвам, павшим безвинно на чеченской войне / Х. Кадиева // Чечня сегодня. – 3 декабря 2019. – URL:<https://chechnyatoday.com/video/331722> (дата обращения: 22.02.2023).

90. Калинин, И. Ностальгическая модернизация: советское прошлое как исторический горизонт / И. Калинин // Неприкосновенный запас. – 2010. – № 6 (74). – URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2010/6/ka2.html>. (дата обращения: 25.09.2022).

91. Калинин, И. Перестройка памяти / И. Калинин // Неприкосновенный запас. – 2009. – № 2 (64). – URL:

<https://magazines.gorky.media/nz/2009/>

<2/perestrojka-pamyati.html> (дата обращения: 10.09.2022).

92. Керимов, М. М. Ислам в духовной культуре вайнахов / М. М. Керимов // Этноконфессиональные отношения как фактор общественной жизни народов Северного Кавказа. – Махачкала: Изд-кий центр ДГУ, 2002. – 164 с.

93. Клейтман, А. Ю. «Эпоха коммеморации»: мнемонические основания социокультурной идентичности / А. Ю. Клейтман // Память и памятники: материалы семинара, проведенного Волгогр. гос. ун-том и Ин-том Кеннана Междунар. науч. Центра им. Вудро Вильсона 21 апр. 2011 г. / под ред. д-ра ист. наук И. И. Куриллы. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. – С. 29–46.

94. Козеллек, Р. К вопросу о темпоральных структурах в историческом развитии понятий / Р. Козеллек // История понятий, история дискурса, история менталитета / Сборник статей под ред. Х. Э. Бедекера; Перевод с нем. – Москва: Новое литературное обозрение, 2010. – С. 21–33.

95. Козеллек, Р. Можем ли мы распоряжаться историей? (Из книги «Прошедшее будущее. К вопросу о семантике исторического времени») / Р. Козеллек // Отечественные записки. – 2004. – № 5. – URL: http://magazines.russ.ru:81/oz/2004/5/2004_5_19.html (дата обращения: 02.10.2021).

[ru:81/oz/2004/5/2004_5_19.html](http://magazines.russ.ru:81/oz/2004/5/2004_5_19.html) (дата обращения: 02.10.2021).

96. Кокорхоева, Д. С. Становление и развитие советской национальной государственности ингушского народа (1917-1944 гг.) / Д. С. Кокорхоева. – Элиста: Изд-во Калмыцкого гос. ун-та, 2002. – 179 с.

97. Коллингвуд, Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Р. Дж. Коллингвуд. – Москва: Наука, 1980. – 485 с.

98. Концепция государственной национальной политики Чеченской Республики. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/432867330?marker> (дата обращения: 11.02.2022).

99. Копосов, Н. Память строгого режима: История и политика в России / Н. Копосов. – Москва: Новое литературное обозрение, 2011. – 320 с.
100. Крах однополярного мира. Мнение Рамзана Кадырова по ситуации на Украине. URL:<https://chechnya.gov.ru/novosti/krah-odnopolyarnogo-mira-mnenie-ramzana-kadyrova-po-situatsii-na-ukraine/> (дата обращения: 3.04.2023).
101. Ксенофонтова, И. Визуализация мемориальных практик: интернет-сайт как «книга памяти» / И. Ксенофонтова // Интеракция. Интервью. интерпретация. – 2011. – Т. 5. – № 6. – С. 133–144.
102. Курилла, И. И. Историческая память и публичная коммеморация / И. И. Курилла // Память и памятники: материалы семинара, проведенного Волгогр. гос. ун-том и Ин-том Кеннана Междунар. науч. Центра им. Вудро Вильсона 21 апр. 2011 г. / под ред. д-ра ист. Наук И. И. Куриллы. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. – С. 4–13.
103. Курьянова, Т.С. Культурное наследие: смысловое поле и практика / Т. С. Курьянова // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 2. – С. 12 – 18.
104. Леонтьева, О. Б. «Мемориальный поворот» в современной российской исторической науке / О. Б. Леонтьева // Диалог со временем. – 2015. – № 50. – С. 59-96.
105. Леонтьева, О. Б. Память, время, мемориальная культура в работах Алейды Ассман / О. Б. Леонтьева // Историческая экспертиза. – 2017. – № 4. – С. 31–46.
106. Логунова, Л. Ю. Поле памяти: конструирование и борьба нарративов / Л. Ю. Логунова, В. А. Рычков // Идеи и идеалы. – 2020. – Т. 12. – № 4. – Ч. 1. – С. 191–213.
107. Лойко, О. Т. Социальная память как предмет философской дескрипции / О. Т. Лойко // Вестник науки Сибири. – 2011. – № 1 (1). – С. 544–550.

108. Лотман, Ю. М. Память в культурологическом освещении // Избранные статьи / Ю. М. Лотман. – Таллинн: Велес, 1992. – С. 200–202.
109. Лотман, Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. М. Лотман. – Таллин: Ээсти раамат, 1973. – 135 с.
110. Лоуэнталь, Д. Прошлое – чужая страна / Д. Лоуэнталь; Перевод с английского А. В. Говорунова. – Санкт-Петербург.: Владимир Даль, Русский Остров, 2004. – 624 с.
111. Люббе, Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем / Г. Люббе // Вопросы философии. – 1994. – № 4. – С. 94–107.
112. Люббе, Г. Историческая идентичность / Г. Люббе // Вопросы философии. – 1994. – № 4. – С. 108–113.
113. Любинская, Л. Н., Лепилин, С. В. Философские проблемы времени в контексте междисциплинарных исследований / Л. Н. Любинская, С. В. Лепилин. – Москва: Прогресс-Традиция, 2002. – 304 с.
114. Макаров, А. И. Феномен памятника в современной культурной ситуации: дисфункция коммеморации / А. И. Макаров // Память и памятники: материалы семинара, проведенного Волгогр. гос. ун-том и Ин-том Кеннана Междунар. науч. Центра им. Вудро Вильсона 21 апр. 2011 г. / под ред. д-ра ист. наук И. И. Куриллы. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. – С. 19–29.
115. Макаров, А. И. Историческая память versus культурная память: конфликт интерпретации исторической реальности / А. И. Макаров // Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы. – Москва: UPSS, 2011. – С. 91–101.
116. Максаковский, В. П. Всемирное культурное наследие / В.П. Максаковский. – Москва: Сервис, 2000. – 415 с.
117. Малашенко, А. В. Исламские ориентиры Северного Кавказа / А. В. Малашенко. – Москва: Гендальф, 2001 – 180 с.
118. Малинова, О. Ю. Введение. Символическая политика и политика памяти / О. Ю. Малинова, А. И. Миллер // Символические аспекты политики памяти в современной России и Восточной Европе: сборник статей / под ред.

В. В. Лапина и А. И. Миллера. – Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021. – С. 7–38.

119. Малинова, О. Ю. Коммеморация исторических событий как инструмент символической политики: возможности сравнительного анализа / О. Ю. Малинова // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). – 2017. – № 4 (87). – С. 6–22.

120. Малинова, О. Ю. Политика памяти как область символической политики / О. Ю. Малинова // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – 2019. – № 9. – С. 285–312.

121. Мегилл, А. Историческая эпистемология: науч. моногр. / А. Мегилл; пер. М. Кукарцевой, В. Катаева, В. Тимонина. – Москва: Канон+: Реабилитация, 2007. – 480 с.

122. Мегилл, А. История и память: за и против / А. Мегилл // Философия за рубежом. – 2005. – № 2. – С. 132–165.

123. Медушевский, Н. А. Мемориальная политика как элемент российского политического дискурса: от кейсов к концепции / Н. А. Медушевский // Теории и проблемы политических исследований. – 2019. – Т. 8. – № 2А. – С. 5–14.

124. Межуев, В. М. Культура и история / В. М. Межуев. – Москва: Политиздат, 1977. – 199 с.

125. Меликова, С. Первая российско-чеченская война (1994-1996): источники и факторы этнической мобилизации / С. Меликова // Кавказ и глобализация. – 2012. – Т. 6 – № 3. – С. 84–93.

126. Миллер, А. И. Политика памяти в России: роль экспертных сообществ / А. И. Миллер // Символическая политика. – 2015. – № 3. – С. 210–235.

127. Мильорати, Л. Тень классического наследия и ее преодоление. Память о движении сопротивления и «конфликтность» памятных

мероприятий / Л. Мильорати // Социологические исследования. – 2014. – № 1. – С. 107–115.

128. Минц, М. Горцы Северного Кавказа в Великой отечественной войне 1941-1945: проблемы истории, историографии и источниковедения (реферат) / М. Минц // История России в современной зарубежной науке. – 2015. – № 1. – С. 141–146.

129. Мороз, О. Цифра все помнит / О. Мороз // ПостНаука: портал. – URL: <https://postnauka.ru/talks/155294> (дата обращения: 28.11.2022).

130. Назаретян, А. П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры (Синергетика исторического прогресса). Курс лекций / А.П. Назаретян. Изд. второе, дораб. и дополн. – Москва: Наследие, 1996. – 184 с.

131. Назаретян, А.П. Антропология насилия и культура самоорганизации: очерки по эволюционно-исторической психологии / А.П. Назаретян. Изд. 2-е, испр. – Москва: Изд-во ЛКИ, 2008. – 256 с.

132. Нечаев, Д. Н. Мемориальная культура и политическая мифология: политика памяти в сфере государственного управления России и государств постсоветского пространства / Д. Н. Нечаев, О. В. Леонова // Вестник Поволжского института управления. – 2021. – Т. 21. – № 1. – С. 12–21.

133. Нора, П. Всемирное торжество памяти / П. Нора // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. – 2005. – № 2–3 (40–41). – URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/vsemirnoe-torzhestvo-pamyati.html> (дата обращения: 24.09.2022).

134. Нора, П. Франция-память / П. Нора; пер. с фр. Д. Хапаевой. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1999. – 328 с.

135. Об утверждении положения о порядке наименования (переименования) улиц, площадей, скверов, парков, муниципальных учреждений и установления (демонтажа) памятников, бюстов, стел и мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном. Грозненская городская дума. Решение от 21 сентября 2017 года № 15. Приложение к

Решению. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/450382267>. (дата обращения 23.01.2022).

136. Олик, Дж. Фигурация памяти: процессо-реляционная методология, иллюстрируемая на примере Германии / Дж. Олик // Социологическое обозрение. – 2012. – № 1. – С. 40–73.

137. Ортега–и–Гассет, Х. Эстетика философии культуры / Х. Ортега–и–Гассет. – Москва: Искусство, 1991. – 588 с.

138. Оруэлл, Дж. 1984: роман / Дж. Оруэлл. – Москва: АСТ, 2009. – 212 с.

139. Осмаев, А. Д. Грозный в 1999–2008 гг.: Война и повседневная жизнь горожан / А. Д. Осмаев // Вестник РГГУ. – 2009. – №17. – С.167–181.

140. Осмаев, М. К. Значение мобилизационных мероприятий для устойчивости экономики Чечено-Ингушской АССР в годы Великой Отечественной войны / М. К. Осмаев // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. – 2018. – № 4. – Т. 17. – С. 257–262.

141. Осмаев, М. К. Чеченцы: обычаи, традиции, обряды (историко-культурные аспекты проблемы) / М. К. Осмаев. – Грозный: издательство ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2016 – 176 с.

142. Павлова, О. С. Чеченский этнос сегодня: черты социально-психологического портрета / О. С. Павлова. – Москва: Сам Полиграфист, 2013. – 558 с.

143. Парсонс, Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс. – Москва: Академический проект, 2000. – 880 с.

144. Парсонс, Т. Система современных обществ / пер. с англ. Л.А. Седова, А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. – Москва: Аспект Пресс, 1998. – 270 с.

145. Покида, А. Н., Зыбуновская, Н. В. Динамика исторической памяти в российском обществе (по результатам социологического мониторинга) / А. Н. Покида, Н. В. Зыбуновская // Социологические исследования. – 2016. – № 3. – С. 98–107.

146. Польш, М. Неужели эти земли нашей могилой станут? / М. Польш // Объединенная газета. 2004. – №23. – URL: https://web.archive.org/web/20070516204410/http://www.ob-gaz.ru/023/023_nash_ist.htm (дата обращения: 12.12.2022)

147. Поршнева, О. Методология и методы изучения культурной памяти / О. Поршнева // Век памяти, память века. Опыт обращения с прошлым в XX столетии / Сб. статей под ред. И. В. Нарского, О. С. Нагорной, О. Ю. Никоновой, Ю. Ю. Хмелевской. – Челябинск: Каменный пояс, 2004. – С. 22–37.

148. Прошлое для настоящего: История-память и нарративы национальной идентичности: коллектив. моногр. / под общ. ред. Л. П. Репиной. – Москва: Аквилон, 2020. – 464 с.

149. Пушкарева, Т. В. Прошлого длинная тень: проблематика исторической памяти в интерпретации Алейды Ассман / Т. В. Пушкарева // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 9 (23), Ч. I. – С. 143–145.

150. Разгон, А.М. Историко-революционные мемориальные музеи и коммунистическое воспитание трудящихся / А. М. Разгон // Роль музеев в коммунистическом воспитании трудящихся. – Москва: Наука, 1966. – 288 с.

151. Распутин, В. Прощание с Матерой / В. Распутин. – Москва: Вече, 2021. – 560 с.

152. Расумов, В. Ш. Роль фольклора в формировании личности (на материале чеченского детского фольклора) / В. Ш. Расумов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2017. – № 3(69). – Ч. 2. – С. 46–48.

153. Реабилитация народов России. Сборник документов / сост. Н. Ф. Бугай. – Москва: «ИНСАН», 2000. – 447 с.

154. Репина, Л. П. «Связь времен» в историческом сознании переходных эпох / Л. П. Репина // Проблемы истории России: сб. науч. тр. –

Екатеринбург: Волот, 2011. – Вып. 9. Россия и Запад в переходную эпоху от средневековья к новому времени. – С. 11–22.

155. Репина, Л. П. Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии / Л. П. Репина // Феномен прошлого / отв. ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – Москва: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. – С. 122–170.

156. Репина, Л. П. Между фактом и символом: исторические события в макроструктуре национально-государственного нарратива / Л. П. Репина // Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2019. – Т. 161. – С. 9–23.

157. Репина, Л. Представления о прошлом и связь времен в историческом сознании / Л. П. Репина // Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / под ред. Л. П. Репиной. – Москва: Кругъ, 2010. – С. 9–25.

158. Реут, О. Ч. Противоречия современной российской мемориальной политики / О. Ч. Реут // Дневник Алтайской школы политических исследований. – 2019. – № 35. – С. 165–169.

159. Рикер, П. Память, история, забвение: пер. с франц. / П. Рикер. – Москва: Изд-во гуманитар. лит., 2004. – 728 с.

160. Ровный, Б. Инструменты исследования коллективной памяти / Б. Ровный // Век памяти, память века. Опыт обращения с прошлым в XX столетии / Сб. статей под ред. И. В. Нарского, О. С. Нагорной, О. Ю. Никоновой, Ю. Ю. Хмелевской. – Челябинск: Каменный пояс, 2004. – С. 38–50.

161. Рождественская, Е. Социальная память как объект социологического изучения / Е. Рождественская, В. Семенова // INTER. – 2011. – № 6. – С. 27–48.

162. Романовская, Е. В. Идентичность и коммеморация / Е. В. Романовская, Н. Л. Фоменко // Власть. – 2015. – № 7 – С. 81–84.

163. Ростовцев, Е.А. Музей и историческая память в современной России / Е.А. Ростовцев, И.В. Сидорчук // Вопросы музеологии. –2014. –№ 2 (10). –С. 16 – 17.

164. Рубин, В.А. Военно-мемориальное наследие как феномен российской культуры: теоретические и исторические аспекты: монография / В.А. Рубин. – Челябинск: ЧГИК, 2019. – 351 с.

165. Рубин, В.А. К вопросу о методологии исследования культурной политики сохранения военно-мемориального наследия / В.А. Рубин, Е.В. Спиридонова, В.С. Цукерман // Вестник культуры и искусств. – 2018. – № 4 (56). – С. 48 – 57.

166. Рубин, В.А. Феномен военно-мемориального наследия в отечественной культуре: основные этапы эволюции понятийно-терминологического аппарата / В.А.Рубин, Е.В.Спиридонова // Философская мысль. – 2018. – № 3. – С.84–97.

167. Рунаев, Т. А. Виртуальные кладбища как коммеморативные практики: разновидности и векторы развития / Т. А. Рунаев // Вестник АГУ. – 2019. – Вып. 3. – № 244. – С. 111–119.

168. Русакова, О. Ф. Политика памяти в контексте современных реалий / О. Ф. Русакова // Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования: материалы XV Междунар. конф. памяти проф. Л. Н. Когана. – Екатеринбург: Издательство Уральского государственного университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2012. – С. 70–75.

169. Рюзен, Й Кризис, травма и идентичность / Й. Рюзен // Цепь времен: проблемы исторического сознания / отв. ред. Л. П. Репина – Москва: ИВИ РАН, 2005. – С. 38–62.

170. Рюзен, Й. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма и дискуссии о памяти) / И. Рюзен // Диалог со временем: альм. интеллектуал. истории. – Москва: Альфа, 2001. – Вып. 7. – С. 8–25.

171. Савельева, И. М. «Историческая память»: к вопросу о границах понятия / И. М. Савельева, А. В. Полетаев // Феномен прошлого / отв. ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – Москва: ГУВШЭ, 2005. – С. 170–220.
172. Савельева, И. М. Знание о прошлом: теория и история: в 2 т. Т. 1: Конструирование прошлого / И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – Москва: Наука, 2003. – 632 с.
173. Савельева, И. М. Социальные представления о прошлом: источники и репрезентации: препринт WP6/2005/02 / И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – Москва: ГУ ВШЭ, 2005. – 52 с.
174. Савельева, И. М. Типы знания о прошлом / И. М. Савельева, А. В. Полетаев // Феномен прошлого / отв. ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – Москва: ГУВШЭ, 2005. – С. 12–67.
175. Сазонникова, Е. В. Мемориальная культура в конституционно-правовом аспекте / Е. В. Сазонникова // Вестник Воронежского государственного университета. – 2009. – № 2. – С. 33–38.
176. Святославский, А. В. История России в зеркале памяти. Механизмы формирования исторических образов / А. В. Святославский. – Москва: Древлехранилище, 2013. – 592 с.
177. Середа, В. Исторический дискурс и национальное прошлое в официальных речах Президентов Украины и России / В. Середа // Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и Украины в период трансформации / Под редакцией Л. Дробижевой, Е. Головахи. – Киев: Институт социологии НАН Украины; Институт социологии РАН, 2007. – С. 69–97.
178. Сикевич, З. В. Этническая идентичность русских и чеченцев в контексте исторической памяти (сравнительный анализ) / З. В. Синкевич // Власть. – 2017. – Т. 25. – № 2. – С. 122–129.
179. Синецкий, С. Б. Культурная политика XXI века: от прецедента Истории к проекту Будущего: монография / С. Б. Синецкий. – Челябинск: Энциклопедия, 2011. – 288 с.

180. Синецкий, С. Б. Культурная политика в контексте противоречий разнообразия и идентичности / С. Б. Синецкий, М. Л. Шуб // Вестник культуры и искусств. – 2021. – № 3 (67). – С. 75–84.

181. Содаро, Э. Мемориальные музеи: возникновение новой формы / Э. Содаро; пер. с англ. В. Макарова // Неприкосновенный запас. – 2019. – № 6 (128). – URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2019/6> (дата обращения: 9.10.2022).

182. Соколова, А. Спонтанная мемориализация в городском ландшафте: случай ярославского «Локомотива» / А. Соколова // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2014. – № 1 (32). – С. 67–106.

183. Солженицын, А. И. Архипелаг ГУЛАГ / А. И. Солженицын. – URL: https://librebook.me/arhipelag_gulag/vol7/4 (дата обращения: 12.03.2023).

184. Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/574660525> (дата обращения: 09.02.2022).

185. Султыгов, А.-Х. Чеченская Республика: поиск идеологии политического урегулирования / А.-Х. Султыгов. – Москва: Поматур, 2001. – 158 с.

186. Текст послания Главы Чеченской Республики на 2019 год // Официальный сайт Главы Чеченской Республики. – URL: <https://chechnya.gov.ru/wp-content/uploads/2021/06/Tekst-Poslaniya-Glavy-CHR-na-2019-god.pdf> (дата обращения: 5.06.2022).

187. Текст послания Главы Чеченской Республики на 2022 год // Официальный сайт Главы Чеченской Республики. – URL: <https://chechnya.gov.ru/wp-content/uploads/2020/02/Poslanie-Glavy-CHR-na-2022-5.pdf> (дата обращения: 5.06.2022).

188. Тивьяева, И. В. Структурная организация мнемического нарратива / И. В. Тивьяева // Сибирский филологический журнал. – 2020. – № 1. – С. 303–315.

189. Траба, Р. Польские споры об истории в XXI веке / Р. Траба // Полит.ру. – 2010. 3 февр. – URL: <http://polit.ru/article/2010/02/03/traba/> (дата обращения: 12.10.2022).

190. Трофимов, А. В. Революция 1917 г. в общественном сознании современной России: смена мифологем / А. В. Трофимов // Документ. Архив. История. Современность. – 2018. – № 18. – С. 361–374.

191. Тхакахов, В. Х. Идентичность и память в топонимической политике Чечни / В. Х. Тхакахов // Научная мысль Кавказа. – 2019. – № 2. – С. 40–49.

192. Тхакахов, В. Х. Карта города: символическая трансформация пространства на Северном Кавказе / В. Х. Тхакахов // Социологические исследования. – 2017. – № 5. – С. 17–25.

193. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». – URL: <https://docs.cntd.ru/document/557309575> (дата обращения: 12.02.2022).

194. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве ее территории». 7 марта 1944 г. – URL: <http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49440> (дата обращения: 7.02.2023)

195. Усков, Н. Разговор с Рамзаном Кадыровым / Н. Усков // Сноб. 28 мая 2013. – URL: <https://snob.ru/selected/entry/61027/> (дата обращения: 5.06.2022).

196. Февр, Л. Бои за историю / Л. Февр. – Москва: Наука, 1991. – 633 с.

197. Филиппов, А. Ф. Конструирование прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика социологического подхода / А. Ф. Филиппов // Феномен прошлого / отв. ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – Москва: ГУВШЭ, 2005. – С. 96–121.

198. Флиер, А.Я. Культура XXI века: аналитический прогноз / А.Я. Флиер // Культурология и глобальные вызовы современности: к разработке

гуманистической идеологии самосохранения человечества / под общ. ред. А.В. Бондарева, Л.М. Мосоловой. – СПб.: СПбКО, 2010. – С. 85 – 88.

199. Флиер, А. Я. Культурная политика и стратегии культурных взаимодействий / А. Я. Флиер // Вестник московского государственного университета культуры и искусств. – 2016. – № 5 (73). – С. 10–18.

200. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов: учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологии / А. Я. Флиер. – Москва: Акад. проект, 2000. – 496 с.

201. Флиер, А. Я. Предназначение культуры / А. Я. Флиер // Вестник МГУКИ. – 2016. – № 3 (71). – С. 24–32.

202. Фуко, М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – Санкт-Петербург: Symposium, 1994. – 388 с.

203. Халимова, Ф. Чеченское кино: проблемы и перспективы / Ф. Халимова // Чечня сегодня. – 31 октября 2012. – URL: <https://chechnyatoday.com/content/view/22882> (дата обращения: 4.04.2023)

204. Хальбвакс, М. Коллективная и историческая память / М. Хальбвакс // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2–3 (40–41). – URL: magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html. (дата обращения: 01.03.2023).

205. Хальбвакс, М. Социальные рамки памяти / М. Хальбвакс. – Москва: Новое изд-во, 2007. – 348 с.

206. Хасбулатова, З. И. К вопросу о роли семьи и общества в воспитании детей в традиционном чеченском обществе в XIX – начале XX в. / З. И. Хасбулатова // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 3. – С. 209–212.

207. Хаттон, П. История как искусство памяти / П. Хаттон. – Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2004. – 424 с.

208. Хирш, М. Что такое постпамять / М. Хирш. – URL: <https://www.b17.ru/blog/39976/> (дата обращения: 15.09.2022).

209. Хмелевская, Ю. Ю. О меморизации истории и историзации памяти / Ю.Ю.Хмелевская // Век памяти, память века: сборник статей «Опыт обращения с прошлым в XX столетии» / под ред. И.Р.Нарского и др. – Челябинск: ЮУрГУ, 2004. – С. 7 – 21.
210. Хобсбаум, Э. Изобретение традиций / Э. Хобсбаум // Вестник Евразии. – 2000. – № 1. – С. 47–62.
211. Хобсбаум, Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914-1991) / Э. Хобсбаум. – Москва: Издательство Независимая Газета, 2004. – 632 с. – (История великих цивилизаций).
212. Цуцулаева, С. С. Чечено-Ингушетия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: историография вопроса / С. С. Цуцулаева // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2009. - № 3а. – С. 102–105.
213. Что делать, если пользователь Живого Журнала умер? Что такое «мемориальный» статус? // Служба поддержки Живого журнала. – URL: <https://www.livejournal.com/support/faq/326.html> (дата обращения: 25.11.2022).
214. Что такое литературно-мемориальный музей: сб. науч. тр. / Гос. лит. музей. – Москва, 1981. – 157 с.
215. Шнирельман, В. Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке / В. Шнирельман. – Москва: Новое литературное обозрение, 2006. – 696 с.
216. Штомпка, П. Социальное изменение как травма / П. Штомпка // Социс. – 2001. – № 1. – С. 6–17.
217. Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка / Пер. с англ. – Москва: Аспект Пресс, 1996. – 415 с.
218. Штоп-Рутковска, К. Киберпамять, или о чем мы (не) помним в сети. Анализ локальной памяти: Белосток и Люблин / К. Штоп-Рутковска // Социологические исследования. – 2015. – № 4. – С. 130–139.

219. Шуб, М. Л. Знаково-символический уровень городской идентичности жителей индустриальных городов Южного Урала / М. Л. Шуб // Обсерватория культуры. – 2022. – Т. 19. – № 2. – С. 128–137.

220. Шуб, М. Л. Культура памяти в структуре идентичности жителей индустриальных городов: монография / М. Л. Шуб. – Челябинск: ЧГИК, 2021. – 283 с.

221. Шуб, М. Л. Культурная память: сущностные особенности и социокультурные практики бытования / М. Л. Шуб. – Челябинск: ЧГИК, 2018. – 303 с.

222. Шуб, М. Л. Основные стратегии российской государственной политики памяти в контексте современного кинематографа / М. Л. Шуб // Дискурс-Пи: научный журнал. – 2020. – № 3 (40). – С. 88–100.

223. Шурек, Ж.-Ш. Память и тоталитаризм: французские дебаты / Ж.-Ш. Шурек // Неприкосновенный запас. – 2002. – № 2 (22). – URL: magazines.russ.ru/nz/2002/22/shurek.html (дата обращения: 04.10.2022).

224. Шюц, А. Структура повседневного мышления / А. Шюц // Социологические исследования. – 1988. – № 2. – С. 131–141.

225. Шюц, А. Формирование понятия и теории в общественных науках / А. Шюц // Американская социологическая мысль: тексты / под ред. В. И. Добренькова. – Москва: Изд-во Междунар. ун-та Бизнеса и Управления, 1996. – С. 526–542.

226. Яндиева, М. «Между Сциллой и Харибдой», или Первые альтернативные выборы президента Ингушетии / М. Яндиева // Ас-Алан. – 2002. – № 3(8). – С. 83–140.

227. Ярычев, Н. У. Актуальные мемориальные исследования: ключевые тренды и перспективы развития / Ярычев Н.У. // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2021. – № 57. – С. 23-28. (К1)

228. Ярычев, Н. У. Виртуальные мемогу-сообщества в структуре медиа-потребления (на примере Чеченской Республики) / Ярычев Н.У. //

Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции «MEDIAОбразование: цифровая среда в условиях вынужденной метаморфозы» (Челябинск, 22-24 ноября 2022 года) / Челябинский государственный университет. – Челябинск: ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», 2022. – С. 265-269.

229. Ярычев, Н. У. Виртуальные кладбища как феномен DIGITAL MEMORY STUDIES / Н. У. Ярычев // Сфера культуры. – 2023. – № 1 (11). – С. 87-93.

230. Ярычев, Н. У. Государственная мемориальная политика Чеченской Республики: анализ стратегических направлений / Н. У. Ярычев // Вестник культуры и искусств. – 2022. – № 2 (70). – С. 55-61.

231. Ярычев, Н. У. Депортация и репатриация чеченского народа как «мемориальные узлы» национальной памяти / Н. У. Ярычев // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 58-е Евсевьевские чтения. «Гуманитарные и общественные аспекты развития науки и образования в XXI в. (Саранск, 2022). – Саранск: Издательство: Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева, 2022. – С. 40-44.

232. Ярычев, Н. У. Знаково-символический ландшафт города: мемориальный компонент (на примере г. Грозный) / Н. У. Ярычев // РОДИНА: ЗЕМЛЯ, НАРОД, ТРАДИЦИЯ – материалы международной научно-просветительской конференции. / Отв. ред. А. Г. Поляков. – Киров: Издательство ООО «ВЕСИ», 2022. – С. 100-105.

233. Ярычев, Н. У. Исторические условия формирования мемориальной политики в современной Чеченской Республике // ЕВРАЗИЯ-2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации. Т. II. Общество, культура и искусство в исторической ретроспективе и современном мире: материалы Международного научного культурно-образовательного форума (Челябинск, 6-8 апреля 2022 г.) / Н. У. Ярычев / под ред. Т. Ф. Семьян, А. В. Епимахова, О. Ю. Никоновой, С. Б.

Синецкого. – Челябинск: Издательский центр ФГАОУ ВО «Южно-Уральский национальный исследовательский государственный университет», 2022. – С. 202-204.

234. Ярычев, Н. У. Кино как инструмент объективации мемориальной культуры / Н. У. Ярычев // материалы II Международной научно-практической конференции «Визуальные медиакommunikации и реклама: новые технологии и методология исследований»(Челябинск, 28-29 апреля 2022 года). – Челябинск: ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», 2022. – С. 424-427.

235. Ярычев, Н. У. Коммеморативная активность в структуре мемориальной деятельности жителей современного города (на примере г. Грозный) // Художественная культура и трансформация индустриального менталитета в условиях моногорода: сборник научных трудов V Всероссийской (национальной) научной конференции с международным участием (24 января 2023 г., г. Магнитогорск) / Н. У. Ярычев / под общ. ред. В.А. Жилиной. – Магнитогорск: Изд-во ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 2023. – С. 78-82.

236. Ярычев, Н. У. Культурная память как понятие и явление: основания концептуализации / Н. У. Ярычев // Культура и искусство. – 2022. – № 12. – С. 11-20.

237. Ярычев, Н. У. Мемориальная культура в зеркале гуманитаристики: актуальные исследовательские тренды / Н. У. Ярычев // Вестник культуры и искусств. – 2021. – № 4 (68). – С. 15-21.

238. Ярычев, Н. У. Мемориальная культура как актуальный исследовательский тренд / Н. У. Ярычев // Вестник культуры и искусств. – 2023. – № 2 (74). – С. 33-40.

239. Ярычев, Н. У. Мемориальная культура: от категории к феномену / Н. У. Ярычев // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2022. – № 5 (109). – С. 32-39.

240. Ярычев, Н. У. Мемориальные акторы: сущность и типологическое разнообразие // Материалы 55 Всероссийской (с международным участием) научной конференции молодых исследователей «Культурные инициативы» (Челябинск, 6 апреля 2023 г.) / Н.У. Ярычев / Сост. и науч. ред. А. Р. Медведева; гл. ред., отв. за выпуск Е.А. Селютина; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск: Изд-во ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», 2023. – С. 108-110.

241. Ярычев, Н. У. Мемориальный нарратив сквозь призму официальной риторики Р.А. Кадырова: опыт культурологического анализа / Н. У. Ярычев // Вестник гуманитарного образования. – 2022. – № 4 (28). – С. 118-125. (К2)

242. Ярычев, Н. У. Мемориальный нейминг: основные тренды в сфере наименований объектов городской среды современной Чеченской Республики (на примере города Грозный) / Н. У. Ярычев // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2022. – № 58. – С. 81-86. (К1)

243. Ярычев, Н. У. Мемориальный туризм как направление мемориальной культуры: сущность, типы, причины востребованности / Н. У. Ярычев // Челябинский гуманитарий. – 2021. – № 3 (56). – С. 12-17.

244. Ярычев, Н. У. Музей как актор мемориальной культуры: специфика позиционирования в аудиторном контенте (на примере национального музея Чеченской Республики) / Н. У. Ярычев // Материалы IX Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию Орловского государственного института культуры «Электронное информационное пространство для науки, образования, культуры» (Орел, 16-17 декабря 2021 года) / Науч. ред. и сост. В.В. Матвеев, Д.Н. Грибков, редколлегия: А.А. Аксюхин, С.Н. Манько. – Орел: Издательство: ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», 2022. – С. 57-59.

245. Ярычев, Н. У. Музейно-мемориальная карта современной Чеченской Республики: специфика и тренды / Н. У. Ярычев // Тезисы

докладов Восьмого международного научного форума «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» (с. Кабардинка, Геленджик, санаторий «Жемчужина моря», 22-25 сентября 2022 года). – Москва: Издательство: Институт наследия, 2022. – С. 215.

246. Ярычев, Н. У. Персональная мемориальная активность в структуре мемориальной деятельности (опыт культурологической диагностики) / Н. У. Ярычев // Культурный код. – 2023. – № 1. – С. 67-79.

247. Ярычев, Н. У. Политическая, культурная и коммуникативная память как ядро мемориальной культуры / Н. У. Ярычев // Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Диалоги о культуре и искусстве» (Пермь, 12-14 октября 2022 года). – Пермь: Издательство ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры», 2022. – С. 932-935.

248. Ярычев, Н. У. Прошлое как созидательно-действенный ресурс: «что» и «для чего» хотят помнить современные чеченцы / Н. У. Ярычев // Материалы Международного научно-творческого форума (научной конференции) «Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века» (Челябинск, 24-25 ноября 2022 года). – Челябинск: Издательство ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», 2023. – С. 108-110.

249. Ярычев, Н. У. Семья как мемориальный кластер (специфика мемориальной активности современной чеченской семьи) / Н. У. Ярычев // Вестник гуманитарного образования. – 2023. – № 2 (30). – С. 149-155.

250. Ярычев, Н. У. Современная мемориальная культура Чеченской Республики (теоретико-методологические и прикладные аспекты изучения): монография / Н. У. Ярычев. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Юнити-Дана», 2023. – 240 с.

251. Ярычев, Н. У. Специфика культурной памяти чеченского народа: анализ событийно-мемориального контента / Н. У. Ярычев // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2023. – № 64. – С. 40-46.

252. Ярычев, Н. У. Стратегии актуализации прошлого: от культуры памяти к мемориальной культуре / Н. У. Ярычев // Челябинский гуманитарий. – 2022. – № 2 (59). – С. 62-66.

253. Ярычев, Н. У. Топографическое измерение мемориальной культуры современной Чеченской Республики / Н. У. Ярычев // Межотраслевые исследования как основа междисциплинарности науки: сборник статей всероссийской конференции (Санкт-Петербург, декабрь 2022). – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие». – С. 9-13.

254. Ярычев, Н. У. Традиционные ценности чеченской культуры сквозь призму современного чеченского кинематографа / Н. У. Ярычев // Культурный код. – 2022. – № 3. – С. 62-68.

255. Ярычев, Н. У. Узлы памяти чеченского народа: анализ ключевых мемориальных нарративов / Н. У. Ярычев // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2022. – № 61. – С. 23-31. (К1)

256. Ярычев, Н. У. Феномен коммеморации в структуре мемориальной культуры / Н. У. Ярычев // Материалы международного научно-творческого форума (научной конференции) «Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века» (Челябинск, 18-19 ноября 2021 года). – Челябинск: Издательство: ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», 2021. – С. 97-100.

257. Ярычев, Н. У. Феномен мемориального нарратива: теоретические основания и практики социокультурного бытования / Н. У. Ярычев // Челябинский гуманитарий. – 2021. – № 4 (57). – С. 7-12.

258. Ярычев, Н. У. Феномен стихийной коммеморации: сущность, типы, функции / Н. У. Ярычев // Сфера культуры. – 2022. – № 1 (7). – С. 13-19.

259. Ярычев, Н. У. Функциональный потенциал мемориальной культуры / Н.У. Ярычев // Культура и цивилизация. – 2022. – Т. 12. – № 1-1. – С. 157-163.

260. Allen M. 2014. *The labour of memory: memorial culture and 7/7*. Palgrave: Macmillan UK. 160 p.
261. Andreas H. 2000. *Present Pasts: Media, Politics, Amnesia // Public Culture*. Vol. XII. No 1: 21–29.
262. Arcangeli A., Tamm M. 2020. *Early Modern Memory Cultures. Cultural history of memory in the early modern age*. London: Bloomsbury academic. P. 1–19.
263. Assmann A., Conrad S. 2010. *Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories*. England: Macmillan Publishers Limited. 252 p.
264. Bal M., Crewe J., Spitzer L. 1998. *Acts of Memory: Cultural Recall in the Present*. Hanover: University Press of New England. P. 7–17.
265. Bernhard M., Kubik J. 2014. *Twenty years after communism: The politics of Memory and commemoration*. Oxford: Oxford University Press. 326 p.
266. Bösch F. 2007. *Film, NS-Vergangenheit und Geschichtswissenschaft. Von «Holocaust» zu «Der Untergang» // Vierteljahresheft für Zeitgeschichte*. No 1: 1–32.
267. Bozoğlu G. 2020. *Museums, emotion, and memory culture. The politics of the past in Turkey*. New York: Routledge NY. 231 p.
268. Brubaker J. R., Hayes G. R., Dourish P. 2013. *Beyond the Grave: Facebook as a site for the expansion of death and mourning. The Information Society*. May. P. 1–42.
269. Canagarajah S. 2002. *Reconstructing Local Knowledge. Journal of language, identity, and education*. No 4: P. 243–259.
270. Carroll B., Landry K. 2010. *Logging on and letting out: using online social networks to grieve and to mourn. Bulletin of Science, Technology & Society*. No 30: 341–349.
271. Churchill R. S. 1948. *The Sinews of Peace. Post-War Speeches by Winston S. Churchill*. London: London-Press. 422 p.

272. Cohen E. H. 2015. Educational dark tourism at an “in populo” site: The Holocaust museum in Jerusalem. *Annals of Tourism Research*. No 38 (1): 193–209.
273. *Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism*. 2009. Ed. by R. Sharpley and P. R. Stone. Bristol, UK: Channel View Publications. 388 p.
274. Dixon J. M. 2018. *Dark Pasts: Changing the state’s story in Turkey and Japan*. Ithaca, London: Cornell University Press. 316 p.
275. Drvenkar N., Banožić M., Živić D. 2015. Development of memorial tourism as a new concept – possibilities and restrictions. *Tourism and Hospitality Management*. Vol. 21. No 1: 63–77.
276. Everett H. 2002. *Roadside crosses in contemporary memorial culture*. Texas: University of North Texas Press. 145 p.
277. Gammer M. 2006. *The lone wolf and the bear: Three centuries of chechen defiance of russian rule*. Pittsburgh: University of Pittsburgh press. 252 p.
278. Gill G. *Symbols and legitimacy in Soviet politics*. Cambridge. Cambridge university press. 2011. 356 p.
279. Grider N. 2007. «Faces of the Fallen» and the dematerialization of US war memorials. *Visual Communication*. No 6 (3): 265–279.
280. Hedges I. 2015. *World Cinema and Cultural Memory*. Evanston: Northeastern University. 189 p.
281. Hoskins A., Barnier A., Kansteiner W., Sutton J. 2008. Editorial. *Memory Studies*. Vol. 1. No 1: 5–7.
282. Irwin-Zarecka I. 1993. *Frames of Remembrance. The Dynamics of Collective Memory*. New Brunswick: Transaction Publishers. 214 p.
283. Kattermann V. 2012. Endlich fertig erinnert? Ein psychoanalytischer Beitrag zur Diskussion kollektiver Vergangenheitsarbeit. *Merkur*. No 66 (Mai): 459–465.
284. Kertzer D. I. 1988. *Ritual, Politics, and Power*. New Haven: Yale University Press. 235 p.

285. Kosellek R. 2004. *Futures past: on the semantics of history with an introduction by Keith Tribe*. New-York: Columbia university press. 340 p.
286. Kumar K. 1996. *From Post-Industrial to Post-Modern Society: New theory of the contemporary world*. Oxford UK; Cambridge USA: Blackwell Publishers. 253 p.
287. Lennon J., Foley M. 1996. *Dark Tourism*. London: Continuum. 184 p.
288. Margry P. J., Sánchez-Carretero C. 2011. *Rethinking Memorialization. The Concept of Grassroots Memorials. Grassroots Memorials. The Politics of Memorializing Traumatic Death*. New York: Oxford: Berghahn. P. 1–48.
289. *Memory and theory in Eastern Europe*. 2013. Eds. U. Blacker, A. Etkind, J. Fedor. New York: Palgrave Macmillan. 279 p.
290. Meyer E., Leggewie C. 2004. *Collecting Today for Tomorrow*. *Medien des kollektiven Gedächtnisses*. No 1: 278–291.
291. Olick J. K. 2007. *The Politics of Regret: On Collective Memory and Historical Responsibility*. New York: Routledge. 240 p.
292. Olick J. K. 2009. *Between Chaos and Diversity: Is Social Memory Studies a Field?* *International Journal of Politics, Culture and Society*. Vol. 22. No 2: 249–252.
293. Olick J., Robbins J. 1998. *Social memory studies: From “collective memory” to the historical sociology of mnemonic*. *Annual review of sociology*. Vol. 24: P. 105–140.
294. Parr A. 2008. *Deleuze and Memorial Culture: Desire, Singular Memory, and the Politics of Trauma*. Edinburgh: Edinburgh University Press. 224 p.
295. Refslund D., Gotved S. 2015. *Online memorial culture*. *New Review of Hypermedia and Multimedia*. Vol. 21: 1–9.
296. Santino J. 2011. *Spontaneous Shrines and the Public Memorialization of Death*. New York: Palgrave Macmillan. 432 p.

297. Seaton A. V. 1999. Guided by the Dark: from thanatopsis to thanatourism. *International Journal of Heritage Studies*. No 2 (4): 234–244.
298. Shama S. 1996. *Landscape and Memory*. New Work. 652 p.
299. Sherman D. J. 1999. *The Construction of Memory in Interwar France*. Chicago: The University of Chicago Press. 448 p.
300. Shub M. L. 2021. Memory-identity in the urban context: The variety and distinctive aspects. *Челябинский гуманитарий [Chelyabinsk Humanitarian]*. No 2 (55): 17–22.
301. Topolski J. 1999. The Role of Logic and Aesthetics in Constructing Narrative Wholes in Historiography. *History and Theory*. Vol. 38. No 2: 198–210.
302. Torpey J. 2003. *Politics and the Past. On Repairing Historical Injustices*. USA: Rowman & Littlefield Publishers; Illustrated edition. 328 p.
303. Torpey J. 2015. *Making Whole What Has Been Smashed: On Reparations Politics*. *Historical Justice and Memory*. Ed. by K. Neumann and J. Thompson. Madison: University of Wisconsin Press. P. 63–73.
304. Tulving E. 2007. Are there 256 different kinds of memory? The foundations of remembering: Essays in honor of Henry L. Roedinger. Ed. by J. S. Nairne. New York: Psychology press. P. 39–52.
305. Tulving, E. 1972. Episodic and semantic memory // *Organization of memory*. New-York: Academic Press. P. 381–403.
306. Vuković D. 2021. Conflict of a memory culture in Western Balkans. *StedJournal*. No 3 (1): 57–68.
307. Wagner-Pacifici R. 1996. Memories in the Making: The Shapes of Things That Went // *Qualitative Sociology*. №. 3: 17–22.
308. Wagner-Pacifici R., Schwartz B. 1991. The Vietnam Veteran's Memorial: Commemorating a Difficult Past // *American Journal of Sociology*. №. 2: 45–51.
309. Walter T. 2015. *New mourners, old mourners: Online memorial culture as a chapter in the history of mourning*. Bath: University of Bath. 282 p.

310. Willis E., Ferrucci P. 2017. Mourning and grief on Facebook: an examination of motivations for Interacting with the deceased. *OMEGA-Journal of Death and Dying*. No 2: 1–19.

311. Yudkina A., Sokolova A. 2014. Roadside Memorials in Contemporary Russia: Folk Origins and Global Trends. *Religion and Society in Central and Eastern Europe*. No 7 (1): 35–51.

312. Zeliezer B. 1995. Reading the past against the grain: The shape of memory studies. *Critical studies in mass communication*. Vol. 12. No 213: 215–239.